

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Владимир
ОДОЕВСКИЙ

повести и рассказы
часть 1



ImWerdenVerlag
München 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Новый год.....	3
История о петухе, кошке и лягушке	8
Катя, или история воспитанницы	17
Княжна Мими.....	26
Imbroglío	51
Необойденный дом	67
Живописец.....	73
Маргинал.....	78
Комментарии.....	85

Печатается по изданиям:

В. Ф. Одоевский. Повести и рассказы. Москва, ГИХЛ. 1959

В. Ф. Одоевский. Сочинения в двух томах. Том второй. М., 1981

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2005

<http://imwerden.de>

Новый год

(Из записок ленивца)

«Если записывать каждый день своей жизни, то чья жизнь не будет любопытна?» — сказал кто-то.

На это я мог бы очень смело отвечать: «Моя». Что может быть любопытного в жизни человека, который на сем свете ровно ничего не делал!

Я чувствовал, я страдал, я думал за других, о других и для других. Пишу свои записки, перечитываю, и не нахожу в них только одного: самого себя. Такое самоотвержение с моей стороны должно расположить читателей в мою пользу: увидим, ошибся ли я в своем расчете, вот несколько дней *не моей* жизни; если они вам не слишком наскучат, то расскажу и про другие.

Действие I

— Вина! вина! наливай скорее; уже без пяти минут двенадцать.

— Неправда, еще целых полчаса осталось до Нового года... — отвечал Вячеслав, показывая с гордостью на свои деревянные часы с розанами на циферблате и чугунными гирями.

— Это по твоим часам: они всегда целым часом отстают!..

— Зато они иногда двумя часами бегут вперед; оно на то же и наведет, — заметил записной насмешник.

— Неправда, они очень верны, — возразил Вячеслав с досадою, — я их каждый день проверяю по городским...

— Сколько ему гордости придают его часы! — продолжал насмешник. — Купил у носящего за целковый, повесил на стену, смотрите, точно гостиная...

— Неправда, они куплены у часовщика, и за них заплачено двадцать пять рублей...

— Объявляю вам, господа, что от этой славной покупки у нас будет двумя бутылками меньше...

Так мы кричали, шумели, спорили и болтали всякий вздор накануне Нового года в маленькой комнатке Вячеслава в третьем этаже. Нас было человек двенадцать — все мы только что вышли из университета. Вячеслав был немногим богаче всех нас, но как-то щеголеватее и к тому же большой мастер устраивать в своей комнате и хозяйничать: например, у Вячеслава сверх табака водились всегда сыр и так называемое вино из *ренского* погреба; в комнате, вместо классической железной кровати студента с байковым одеялом, стоял диван, обтянутый полосатою холстинкою; на этом диване лежали кожаные подушки, с которых на день снимались наволочки; возле дивана был растянут сплетенный из покровов ковер, от чего диван получал вид роскошного оттомана; книги лежали не на полу, по общему обыкновению, но на доске, прибитой к стене под коленкоровой занавеской; не только был стол для письма, но и еще другой

стол особенно, хотя и без ящика; над единственным окошком висел кусок полотна; даже были вольтеровские кресла; наконец, знаменитые часы гордо размахивали маятником и довершали убранство комнаты.

Такое пышное устройство возбуждало всеобщую зависть и всеобщее удивление и с тем вместе было причиною, почему квартира Вячеслава была всегда местом наших собраний. Так было и сегодня. За месяц еще Вячеслав преважно пригласил нас встретиться у него Новый тюд, обещая даже сделать жженку. Разумеется, отказа не было. Мы знали, что он уже давно хлопочет о приготовлениях, что заказан пирог и что, сверх обыкновенного его так называемого вина, будет по крайней мере три бутылки шампанского!

После смеха и шума, к двенадцати часам все пришло в порядок.

Как мы все уселись на трех квадратных саженьях, я теперь уже не понимаю, только всем было место: кому на диване, кому на окошке, кому на столе, кому на полке; на одних вольтеровских креслах сидели, мне кажется, три человека! Вот на столе уже уставлены огромный пирог, огромный сыр, бутылки и, разумеется, череп — для того, чтоб наше пиршество больше приближалось к лукуллову. Двенадцать трубок закурились в торжественном молчании: но едва деревянные часы продребезжали полночь, мы чокнулись стаканами и прокричали «ура» Новому году. Правда, шампанское было немножко тепло, а горячий пирог был немножко холоден, но этого никто не заметил. Беседа была веселая. Мы только что вырвались из школьного заточения, мы только что вступали в свет: широкая дорога открывалась перед нами — простор молодому воображению. Сколько планов, сколько мечтаний, сколько самонадеянности и — сколько благородства! Счастливое время! Где ты?..

К тому же мы были люди важные: мы уже имели наслаждение видеть себя в печати — наслаждение, в первый раз неизъяснимое! Уже мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились. Правда, за то нам и доставалось. Сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством: но мы в порыве беспристрастия, в ответ на нежности, задели всех этих господ без милосердия. Такая неблагодарность с нашей стороны чрезвычайно их рассердила. В эту позорную эпоху нашей критики литературная брань выходила из границ всякой благопристойности: литература в критических статьях была делом совершенно посторонним: они были просто ругательство, площадная битва площадных шуток, двусмысленностей, самой злонамеренной клеветы и обидных применений, которые часто простирались даже до домашних обстоятельств сочинителя; разумеется, в этой бесславной битве выигрывали только те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении: мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии, или по крайней мере в гостиной; в самом же деле мы были в райке: вокруг пахнет салом и дегтем, говорят о ценах на севрюгу, бранятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава, — а мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости, ищем в Гомере или Виргилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся расшевелить их деликатность... Легко было угадать следствие такого неравного боя. Никто не брал труда справляться с Гомером, чтобы постигнуть всю едкость наших эпиграмм: насмешки наших противников в тысячу раз сильнее действовали на толпу читателей и потому, что были грубее, и потому, что менее касались литературы.

К счастью, это скорбное время прошло. Если бы остаткам героев того века и хотелось возобновить эту выгодную для них битву — такое предприятие едва ли увенчается успехом; общее презрение мало-помалу налегло на достойных презрения — и им уже не приподняться! Но тогда, — тогда другое дело. Многие из нас были задеты эти-

ми господами со всею лакейскою грубостью; насмешники были против нас, и, стыдно признаться, глупые шутки наших критиков звенели у нас в ушах; мы чувствовали всю справедливость нашего дела — и тем досаднее была нам несправедливость общего голоса. В зрелых годах человек привыкает к людской несправедливости, находит ее делом обыкновенным, часто горьким, чаще смешным; но в юности, когда так хочется верить всему высокому и прекрасному, несправедливость людей поражает сильно и наводит на душу невыразимое уныние. Этому состоянию духа должно приписать тот байронизм, в котором, может быть, уже слишком упрекают молодых людей и в котором бывает часто виновата лишь доброта и возвышенность их сердца. Люди бездушные никогда и ни о чем не тоскуют.

Как бы то ни было, эти нападки бесславных врагов, их торжество в общем мнении сближали товарищей в нашем маленьком кругу; здесь мы отдыхали; каждый знал труды другого; каждый по себе ценил усилия товарища; общая несправедливость была нам даже полезна: мы с большею бодростью поощряли друг друга к новым трудам и с каждым днем становились более строги к самим себе.

Наша беседа перед Новым годом была полна этой пламенной, этой живой, юношеской жизни. Сколько прекрасных надежд! Сколько планов, перемешанных с тонкими аттическими эпиграммами против наших гонителей!.. Вячеслав был душою нашего общества: он нампреважно доказал, что Новый год непременно должно начать чем-нибудь дельным, сам в качестве поэта схватил лист бумаги и стал импровизировать стихи, а нам предложил каждому выбрать себе какую-нибудь дельную, важную работу, которой надлежало предаться в течение года. Предложение было принято с восторгом — и в этот день мы погрозились читателям несколькими системами философии, несколькими курсами математики, несколькими романами и несколькими словарями. От близкой работы мы перешли к отдаленной: все отрасли деятельности были разобраны — кто обещался возвысить наукою воинственное имя своих предков; кто перенести в наш мир промышленности все знания Европы; кто на царской службе принести в жертву жизнь на поле брани или в тяжких трудах гражданских. Мы верили себе и другим, ибо мысли наши были чисты и сердце не знало расчетов. Между тем Вячеслав окончил свои стихи, в которых намекал о трудах, заказанных нами самим себе. Нет нужды сказывать, что мы провозгласили его истинным поэтом и убедительно ему доказывали, что его предназначение в этой жизни — *развивать идею поэзии*; долго потом, встречаясь, мы вместо обыкновенного «здравствуй» приветствовали друг друга стихами нашего поэта: они наводили светлый радужный отблеск на все наши мысли и чувства.

Мы расстались с дневным светом, обещали друг другу собраться всем в этот день ежегодно у Вячеслава, несмотря на все препятствия, и давать друг другу отчет в исполнении своих обещаний.

Несколько лет мы были неразлучны. Многих судьба переменилась; кромчатый ковер заменился хитрыми изделиями английской промышленности; маленькая комната обратилась в пышные, роскошные хоромы; шампанское мерзло в серебряных вазах, наполненных химическим холодом, — но мы в честь старой студенческой жизни сходились запросто, в сюртуках, и по-прежнему делились откровенными мыслями и чувствами. Между тем некоторые из наших работ были начаты, большая часть — не окончены, остальные переменены на другие. Мало-помалу судьба разнесла нас по всем концам мира; оставшиеся сходились по-прежнему в первый день года; отсутствующие писали к нам, что они в эти дни мысленно переносились к друзьям: кто из цареградского храма св. Софии, кто с берегов Ориноко, кто от подошвы Эльборуса, кто с холмов древнего Рима.

Действие II

Прошло еще несколько лет. Судьба носила меня по разным странам. Я приехал в Москву накануне Нового года; искать Вячеслава — нет его: он в подмосковной верст за десять; я в том же экипаже в подмосковную, куда приехал около полуночи. Лошади быстро пронесли меня по запущенному снегом двору; в барском доме еще мелькал огонь. Прошед несколько слабо освещенных комнат, я дошел до кабинета. Вячеслав на коленях перед колыбелью спящего младенца; ему улыбалась прекрасная, в цвете лет женщина; он узнал меня и дал знак рукою, чтоб я говорил тише:

— Он только что стал засыпать, — сказал Вячеслав шепотом; жена его повторила эти слова. Несколько минут я смотрел с умилением на эту семейную картину. Видно было по всему, что в этом доме жили, а не кочевали; все было придумано с английскою прозорливостью для жизни семейной, ежедневной: стол был покрыт книгами и бумагами, мебель спокойная, необходимая занятому человеку; везде беспорядок, составляющий середину между порядком праздного человека и небрежностью ленивца; на креслах пюпитры для чтения, фортепьяно, начатая канва, развернутые журналы и, наконец, воспоминание прежней нашей жизни — студенческие деревянные часы. Я не успел еще осмотреться, когда младенец заснул крепким сном невинности. Вячеслав приподнялся от колыбели и сжал меня в своих объятиях.

— Это мой старый товарищ, — говорил он, знакомя с своею женою, — сегодня канун Нового года, надобно встретить его по старине.

Мы уселись втроем за маленьким столиком; в 12 часов чокнулись рюмками и стали вспоминать о былом, припоминать товарищей... Многих недосчитывались: кто погиб славною смертью на поле брани, кто умер не менее славною смертью, изнуренный кабинетным трудом и ночами без сна; кого убила безнадежная страсть, кого невозвратимая потеря, кого несправедливость людская; но половины уже не существовало в сем мире!

Не было криков, не было юношеских восторгов на этом мирном пире, не было необдуманных обещаний, легкомысленных надежд; мы говорили шепотом, чтоб не разбудить дитя; часто мы останавливались на недоконченной фразе, чтоб взглянуть на спящего младенца; мы говорили не о будущем, но лишь о прошедшем и настоящем; наш разговор был тот тихий семейный лепет, где вас занимают не сказанные слова, но тот, кто сказал их; где мысль вполонину угадывается и где говорят, кажется, для того только, чтоб иметь предлог посмотреть друг на друга.

— Мое время прошло, — сказал наконец Вячеслав. — Стихи мои в камине; попытки не удались; юношеских сил не воротить; великим поэтом мне не бывать, а посредственным быть не хочу; но то, чего я не успел доделать в себе, то постараюсь докончить в нем, — прибавил Вячеслав, указывая на колыбель, — здесь моя настоящая деятельность, здесь мои юношеские силы, здесь надежды на будущее. Ему посвящаю жизнь мою; у него не будет другого, кроме меня, наставника; у него не будет минуты, которой бы он не разделил со мною, ибо в воспитании важна всякая минута: один миг может разрушить усилия целых годов; отец, не порадевший о своем сыне, есть в моих мыслях величайший преступник. Кто знает! природа на растениях производит слабый, будто ненужный листок, который вырастает только для того, чтоб сохранить нежный зародыш, и потом — увянуть незаметно: не случается ли того же и между людьми? Может быть, я этот слабый, грубый листок, а мой сын зародыш чего-нибудь великого; может быть, в этой колыбели лежит поэт, музыкант, живописец, которому вверило провидение всю будущность человечества. Я увяну незаметно, но все, что есть в моем сыне, выведу в мир; в этом, я верю, единое назначение моей второстепенной жизни!

Тут Вячеслав принялся мне рассказывать план, предпринятый им для воспитания сына; его библиотека была наполнена всеми возможными книгами о воспитании; он показал мне кучу огромных выписок: он учился не шутя, но по-нашему, по-старинному, как студент, готовящийся к строгому экзамену.

Я расстался с Вячеславом рано; мы не выпили и четверти бутылки: он, как человек семейный, не любил обращать ночи в день; я не хотел заставить его переменить заведенный им строгий порядок. Часы, проведенные с ним, оставили надолго в душе моей сладкое и невыразимое чувство.

Действие III

Прошло еще несколько лет. Однажды, под Новый год, судьба занесла меня в П. Я знал, что Вячеслав поселился уже более двух лет в этом городе. Я бросил в трактире мой экипаж и чемоданы и по-старому, не переодеваясь, как был в дорожном платье, сел на первого попавшегося мне извозчика и поспешил скорее к прежнему товарищу. Быстрое движение блестящих карет, скакавших по улице, привело меня с непривычки в какое-то онемение; я едва мог выговорить мое имя швейцару, встретившему меня у Вячеслава крыльца. Думаю, что он принял меня за сумасшедшего, потому что несколько времени смотрел мне в глаза и не отвечал ни слова.

— Барин сейчас едет, барыня уже уехала, — наконец проговорил он.

— Какой вздор! быть не может.

— Карета уже подана, барин одевается...

— Быть не может.

— Позвольте об вас доложить...

— Я хожу без доклада.

— Однако же...

Я оттолкнул верного приставника и поспешно пробежал ряд блестящих комнат. В доме все суетилось; в крайней комнате я нашел Вячеслава во всем параде перед зеркалом; он ужасно сердился на то, что башмак отставал у него от ноги; парикмахер поправлял на голове его накладку.

Вячеслав, увидя меня, обрадовался и смешался.

— Ах, братец! — говорил он мне с досадою, обращаясь то к камердинеру, то к парикмахеру. — Затяни этот шнурок... Зачем было мне не сказать, что ты здесь?

— Я сейчас только из дорожной кареты.

— Я бы как-нибудь отделался. Ты не знаешь, что такое здешняя жизнь... прикрепи эту пуклю... ни одной минуты для себя, не успеваешь жить и не чувствуешь, как живешь...

— Ты едешь — я тебе не мешаю...

— Ах, как досадно! Как бы хотелось с тобою остаться... здесь накладка сползает... но невозможно, поверишь мне, что невозможно...

— Верю, верю; какое-нибудь важное дело...

— Какое дело! Я дал слово князю Б. на партию виста... перчатки... он человек, от которого многое зависит, — нельзя отказаться. Ах, как бы хорошо нам встретить Новый год по старине, вспомнить былое... шляпу...

— Сделай милость, без церемоний... Тут вошел сын его с гувернером:

— Adieu, раа.

— А, ты уж возвратился? весел ли был ваш маскарад? Ну, прощай, ложись спать... затяни еще шнурок... Бог с тобою. Ах, Боже мой, уже половина двенадцатого... прощай, моя душа! Помнишь, как мы живали! Карету, карету!..

Вячеслав побежал опрометью; я пошел за ним тихо, посмотрел на прекрасные комнаты, — они были блестящи, но холодны; в кабинете величайший порядок, все на своем месте, пакеты, чернильница; на камине часы *rococo*, на столе развернутый адрес-календарь...

Этот Новый год я встретил один, перед кувшином зельцерской воды, в гостинице для проезжающих.

История о петухе, кошке и лягушке

Рассказ провинциала

(Димитрию В. Путяте)

Критик. Какая цель вашей сказки?

Автор (униженно кланяясь). Рассказать ее вам.

В бытность свою в городе Реженске покойная моя бабушка была свидетельницей одного странного происшествия: будучи уверен, что публике необходимо знать все, что касается до меня или до моих родственников и знакомых, я расскажу это происшествие со всею подробностью, как мне его рассказывали, и, по моему обыкновению, не прибавляя от себя ни единого слова.

Много лет тому назад находился в нашем городе в звании городничего отставной прапорщик Иван Трофимович Зернушкин. Давно уже исправлял он эту должность, — да и не мудрено: все так им были довольны — никогда он ни во что не мешался; позволял всякому делать, что ему было угодно; зато не позволял никому и в свои дела вмешиваться. Некоторые затейники, побывавшие в Петербурге, часто приступали к нему с разными, небывалыми у нас и вредными нововведениями; они, например, толковали, что не худо бы осматривать, хоть изредка, лавки с съестными припасами, потому что реженские торговцы имели, не знаю отчего, привычку продавать в мясоястие баранину, а в пост рыбу, да такую, прости Господи! — что хоть вон беги с рынка; иные прибавляли, что не худо бы хотя песку подсыпать по улицам и запретить выкидывать на них всякой вздор из домов, ибо от того будто бы в осень никуда пройти нельзя, и будто бы от того заражается воздух; бывали даже такие, которые утверждали, что необходимо в городе завести хотя одну пожарную трубу с лестницами, баграми, топорами и другими вычурами. Иван Трофимович на все сии неразумные требования отвечал весьма рассудительно, остроумно и с твердостью. Он доказывал, что лавочники никому своего товару не навязывают и что всякой сам должен смотреть, что покупает; что одни лишь пустодомы да непорядочные люди могут требовать от городничего наблюдения за таким делом, которое должна знать последняя кухарка. Касательно мостовой он говорил, что Бог дает дождь и хорошую погоду, и, видно, уж такой положен предел, чтобы осенью была по улицам грязь по колено: сверх того, добрые люди сидят дома и не шатаются по улицам, а когда русскому человеку нужда, так он везде пройдет. Если бы, прибавлял он, на улицу ничего не выкидывали, свиньям бедных людей нечего было бы есть в осеннее и зимнее время. Что касается до воздуха, то воздух не человек и заразиться не может. Относительно пожарной трубы Иван Трофимович доказывал, что таковой и прежде в городе Реженске не имелось, а ныне, когда три части оно уже выгорели, для четвертой нечего уже затевать такие затеи; что, наконец,

он, карабинерного полка отставной прапорщик, Иван Трофимович сын Зернушкин, уже не первый десяток на сем свете живет и сам знает свою должность исправлять, городом управлять и начальству отвечать. Такие благоразумные и неоднократно повторенные рассуждения скоро закрыли уста затейникам, особенно когда однажды, в сердитый час, Иван Трофимович присовокупил, что его, городничего, должность не за грязью на мостовых и не за гнилою рыбою смотреть, а за теми, которые учнут в фортеции злые толки распускать и противу службы злое умышлять.

Все в городе похвалили Ивана Трофимовича за его твердый нрав и обычай, и, благодаря Бога, у нас в Реженске и до сих пор все осталось по-прежнему: на улицах грязь по колено, по рынкам пройти нельзя. Та только разница, что вместо пожарной трубы в последнее время у нас заведена прекрасная зеленая бочка с двумя также зелеными баграми, но по завещанию Ивана Трофимовича на пожар они никогда не вывозятся, ибо иначе легко могли бы испортиться, а хранятся за замком, в нарочно для того определенном сарае. Время оправдало благоразумнее распоряжение Ивана Трофимовича: скоро потом приезжавший чиновник долгом почел донести губернатору об отличном устройстве пожарных инструментов в городе Реженске.

Как бы то ни было, Иван Трофимович, избавившись от докуки реженских затейников, обратился к своим любимым занятиям, которых у него было два, а именно: чай и кошка. Да, милостивые государи! Иван Трофимович очень любил чай, и даже в нем был большой знаток.

По сей-то причине он часто хаживал по лазкам собирать у купцов чайные пробочки, чтоб не ошибиться. Таким образом, у Иван Трофимовича набиралось когда четверть, когда полфунтика. Не то чтоб он все пробочки мешал вместе: нет! Как настоящий знаток, он выпивал каждую по-одиначке, и которого чай он похвалит, тот купец и несет ему гостинец. Говорят, однако же, к чести Ивана Трофимовича, — такая была у него добрая душа! — что он при этом случае руководствовался не столько качеством чая, сколько или очередью между купцами, или разными случавшимися обстоятельствами: так, например, тот, у кого что-нибудь было на душе, уже наверное знал, что Иван Трофимович придет к нему за пробочкою. Не то чтоб это можно было назвать взяткою! Нет! Наши реженские лавочники так любили Ивана Трофимовича, что носили к нему все *из чести*! Да не для чего было и взятки давать: дел таких, как нынче, не было. Разумеется, и тогда в городе было не без ссор, не без зависти, не без злости, — только тогда обычай был другой; придут, бывало, к Ивану Трофимовичу тяжущиеся: оба говорят, говорят, — кто кого перекричит; а Иван Трофимович послушает, послушает, — да одному толчок, другому другой: никого не обидит, покойник, и вот тяжущиеся потолкуют между собою, потолкуют, много что подерутся, душеньку отведут, да тут же в питейном доме и помирятся, да еще за здоровье Ивана Трофимовича выпьют. Счастливое тогда времечко было!

Любил кушать чай Иван Трофимович, но не менее того любил он и кошку. Не то чтоб он кошку любил, — нет! — а любил, чтоб кошка у него вокруг шеи ходила, ластилась, терлась да на ухо ему шептала. Правду сказать, да что и за кошка! Нынче уж нет таких кошек! Большая, лоснистая, черная, а мордка, душка и лапки белые, как снег, словно в перчатках. Уж нечего и говорить: у Ивана Трофимовича мышей в заводе не бывало. Да какие у ней были милые привычки! Говорю вам, что нынче уж нет таких кошек. Бывало, Иван Трофимович проснется, а кошка прямо к нему в постелю, то вытянется, то согнется дугою, то замурычет, то замаячет, — а зеленые глазки у ней так и катаются, словно изумруды. Тогда Иван Трофимович вставал, разводил огонь, ставил чайник в печку, надевал фризую шинель, брал кулечек и отправлялся на рынок, а кошка вслед за ним. Тут и собаки лают, и возы везут, и народ кричит, а ей горя мало: только что через лужицы перепрыгивает да лапки отряхает. Куда в лавку Иван

Трофимович, туда и его кошка, — удивленье всему городу! — и вот ей где рыбку, где свежинки: она знай кушает да мурлычет! Возвратится Иван Трофимович, возьмет чайник, сядет к столику возле окошка, а кошка даром, что сыта: не думайте, чтоб она, как нынешние кошки, свернулась в кружок да захрапела, — нет! — она на столик проберется, между чашки и сахарницы, ничего не заденет, или сядет на окошке на солнышко или на плечо к Ивану Трофимовичу, и мурлыкать не мурлыкает, а трется, трется вокруг шеи, и шепчет-шепчет на ухо Ивану Трофимовичу; Иван же Трофимович то погладит ее, то чайку прихлебнет... Так протекали долгие дни.

Один из новейших сочинителей описал эти немые минуты семейственного счастья, когда в голове не проходит ни одной мысли, в душе рождается какое-то тихое, невыразимое чувство; но кто опишет счастье Ивана Трофимовича в этом уединении! Теплая избушка, теплый тулуп, пестрые обои, мыши кота погребают во всю стену, треугольная шляпа, шпага; солнышко светит, от чаю пар столбом, мимо окошка всякой кланяется, вокруг шеи теплая Васькина шкурка, и больше никого — ни детей, ни жены, ни кухарки, и триста верст от губернского города! И это тихое, невыразимое счастье повторяется каждый день; и не один раз в день, а два — поутру и после обеда; иногда же и в промежутках! Две были цели в жизни Ивана Трофимовича: напиться чаю и молча держать Ваську на шее. Эта мысль не оставляла его ни на минуту: он засыпал с нею, видел ее во сне и с нею просыпался; к этой мысли были привязаны все его поступки, все желания, все малейшие движения его души, — других в ней не было. Приставал ли к нему кто-нибудь с делом, случалось ли что важное в городе, он отлагал все, чтоб не пропустить положенного часа для чаю. Говорили ли о ревизоре — он боялся его только потому, что к нему неловко будет явиться вместе с Ваською.

Но нет вечного счастья в этой жизни! У Ивана Трофимовича была однофамилица, и даже несколько сродни, из дворян, — вдова Марфа Осиповна Зернушкина. Случись у ней какое-то дело в городе Реженске: никак, кто-то у ней мельницу околдовал, ртути в плотину напустил. Марфа Осиповна была женщина бойкая, умная, скопидомка и хотя грамоте не умела, но тяжёбые дела знала лучше иного приказного: потому решилась она хлопотать о делах сама, своею особою, а Иван Трофимович был ей нужен, чтоб за нее по родству руку прикладывать. Она въехала к нему прямо в дом. Соблазна тут никакого быть не могло, потому что им обоим вместе было лет сотня с лишком: добрый Иван Трофимович с радушием отвел ей у себя каморку. Вот, разумеется, при свидании родные обрадовались. Пошли толки о том о сем, о старине, о новизне, об урожае, — Васька туда же, то ластится, то трется, то замурлычет, то замячет, то посмотрит на них прищуренными глазками...

— Э! да какая у тебя товарка! — сказала Марфа Осиповна, — давно ли, батюшка, завелся?

— Да давно уж, матушка! лет восемь; с тех пор как мы с тобою не видались...

— Да где, батюшка, и видется! Ведь восемьдесят верст не шутка! Ты человек служебный, а мне уж не подлета. Три дня, батюшка, к тебе тащилась: ведь на своих!.. Чуть было в грязи не утонула, а еще все большой дороги держалась; ты знаешь, у нас новую дорогу сделали! Кисанька! Кисанька!.. Экая славная!.. Ну, вижу я, ты, право, домком позавелся! Уж не жениться ли хочешь? На дворе я у тебя видела матерого петуха, а здесь кота заморского: а ведь по нашему, по бабьему реченью, кот да петух, что жена, милый друг!

— Ну уж, матушка Марфа Осиповна: что до петуха касается, то его хоть бы не было. Такой крикун — провал его возьми! — глаз свести не даст. Я, пожалуй, вам его хоть даром отдам...

— Благодарствую, батюшка Иван Трофимович. Да зачем это?

— И ничего, матушка! свои люди, сочтемся. А уж Васька-то мой! То уж подлинно сказать, Марфа Осиповна, что мой Васька милее иной жены. Кабы вы знали, какой за-

тейник, какой забавник! Не только что на охоту ходит, да песни поет, да старую шею у меня греет, — нет, матушка: ведь от меня он крохи не получает, а сам со мною по городу бродит да с лавочников оброк берет!..

— Неужели в самом деле!

Невозможно описать всех рассказов Ивана Трофимовича и всех расспросов Марфы Осиповны, и я, подобно сочинителям чувствительных романов, когда дело доходит до страшной завязки, предоставляю читателям дополнить воображением все, что было сказано, недосказано и пересказано при этом свидании.

Прошло несколько дней. Однажды после обеда, сидя за чайным столиком, Марфа Осиповна сказала Ивану Трофимовичу:

— Смотрю я на тебя, батюшка!..

— Да! — отвечал Иван Трофимович. — Так что же?

— А то, что нехорошо!

— Что нехорошо?

— Да так! нехорошо...

— Да что оно такое нехорошо, матушка?

— А то, зачем ты позволяешь кошке себе на ухо шептать!

— На ухо шептать?

— Да, вон видишь: ты, батюшка, ее отогнал, а она тебе опять в ухо лезет.

— Признательно вам сказать, Марфа Осиповна, что же тут дурного? Оно тепло и приятно.

— Да то тут дурного, Иван Трофимович, что она тебе жабу в голове нашепчет.

— Как жабу нашепчет?

— Да так, что у тебя ни с того ни с сего жаба в голове заведется.

— Что ты, матушка, говоришь? Уж жаба в голове заведется!.. Да как она туда зайдет?

— Как хочешь, Иван Трофимович! верь или не верь: я тебе не свои слова говорю, а что от родителей слыхала. Ты помнишь батюшку-покойника: он, бывало, слова даром не проронит; а он частенько — царство ему небесное! — толковал, что если кому кошка на ухо шепчет, у того непременно в голове жаба заведется.

«Что эта баба мелет? — думал про себя Иван Трофимович, ложась в постель и поглаживая Ваську. — Вишь, кошка жабу может нашептать! Чего эти бабы не выдумают!»

Однако ж у Ивана Трофимовича в голове и один и два. Вот кажется Ивану Трофимовичу, что его что-то в голову стукнуло, и будто голова у него заболела. И он думает: «Болит она аль нет? болит, точно болит!.. Нет, не болит, точно не болит!..»

Вставши поутру, Иван Трофимович, как человек благоразумный, рассудил, что в таких случаях лучше всего спросить человека знающего. Был у него душевный приятель, Богдан Иванович, уездный лекарь. Давно они уже с ним не видались. «Дай-ка зайду к Богдаше, — сказал Иван Трофимович, — да спрошу: он человек искусный, и верно мне всю правду скажет». Сказано — сделано.

Не хотелось Ивану Трофимовичу признаться, что он поверил бабьим сплетням, но, как человек тонкий, завел речь стороною.

После обыкновенных приветствий Иван Трофимович сказал лекарю:

— Что это, батюшка, Богдан Иванович? У нас в городе все головой жалуются. Отчего бы это?

— Да не мудрено, Иван Трофимович! — отвечал лекарь. — Теперь пора осенняя, а в эту пору обыкновенно усиливается геморрой.

— А разве только что от геморроя и может болеть голова?

— Нет; она может болеть и от разных причин: от простуды, от угару, от несварения пищи.

— А от каких ни есть других причин может болеть голова?
— Да от каких же это?
— Ну, примером сказать, правда ли это, батюшка, что будто бы иногда у человека жаба заводится в голове?
— Мало ли чудес в теле человеческом! Бывали и такие примеры.
— Как! Бывали?
— Да, но, к счастью, очень редко.
— Какие чудеса на свете бывают! Да как же помочь в таком несчастном случае?
— Ну, тут уж надобно делать операцию!
— Операцию!
— Да! И очень трудную. Вскрывают голову.
— Вскрывают голову? Да как же это?
— Да вот, видишь: есть такой инструмент; он словно крышка с чайника, только кругом его острые зубчики, как у пилки.
— Ну?
— Вот на голове выбреют волосы, кожицу подрежут кругом, да и примутся вертеть этот инструмент на черепе: он и выпилит из него кружочек.
— Ну?
— Ну, кружочек снимут: если лягушка или что другое на том месте, то...
— Как, если на том месте!.. А если на другом?
— Ну, так еще вертят череп.

Ноги оледенели у Ивана Трофимовича; однако ж он собрался с силами и выговорил:

— Как же это, батюшка! этак всю голову как тыкву изрежут!.. Да что ж с человеком-то в это время бывает?
— Чему быть с человеком? Он лежит без памяти.
— И живут еще после этакое мучения?
— Признательно сказать, Иван Трофимович, так почти всегда умирают.

В раздумье пошел Иван Трофимович от лекаря. «Не соврала баба! — сказал он дорогою, — не соврала! Экая беда какая!» И, пришедши домой, он увидел, что Марфа Осиповна уже собирается в путь.

— Куда спешишь, матушка?
— Да что, Иван Трофимович, время терять! Спасибо тебе, все дела мои покончила; какие хвосты остались, ты и без меня их заправишь. Благодарим за хлеб, за соль...
— Не на чем, матушка, не на чем!

Когда Марфа Осиповна собралась совсем уже садиться в кибитку, Иван Трофимович, скрепя сердце, сказал ей:

— Послушай, матушка: подарил я тебе петуха... возьми уж... и кошку!
Марфе Осиповне того только и хотелось.
— И! зачем это! — отвечала она. — Ведь у тебя Васька единое утешение...
— Нет, матушка! Я вот, видишь, человек холостой, прибирать в доме некому, а ведь кошка блудница; прыгнет неравно куда да заденет, разобьет... У тебя же в деревне простор большой.

— И подлинно так, Иван Трофимович! Давай, давай; а я тебе за то к великому посту пришлю медку к чаю да грибков сушеных... Ведь ты, чай, постничаешь?..

Почти слезы навернулись у Ивана Трофимовича, когда пришлось расставаться с Ваською; но делать было нечего. Петуха усадили в лукошко, Ваську в мешок, Марфу Осиповну в кибитку — и все тряхнулось и покатилося.

С тех пор жизнь опостылела Ивану Трофимовичу. Все ему грустно, все холодно вокруг шеи; даже чай ему казался горьким, сколько он ни прикусывал сахару. Войдет ли

в комнату, — ему чудится, что Васька мурлычет; пойдет ли по городу — все оборачиваются полюбоваться па него: то схватится за холодную шею, — и нет Васьки!..

Однажды, когда Иван Трофимович сидел за чайным столиком и перед ним стыла налитая чашка, зашел к нему приятель.

— Здравствуй, батюшка Иван Трофимович! Подобрю ли, поздорову поживаешь?..

— Нет, почтеннейший!.. нездоровится! Даже чай в горлышко не идет.

— Да что ж такое с вами, Иван Трофимович?

— Да Бог весть что!.. И голова побаливает, да и что-то грустно все; ни на что глядеть не хочется.

— И, батюшка, Иван Трофимович! Хотите, я вас лекарству научу?

— Удружи, почтеннейший!

— Прибавляйте кизлярской водочки к чаю, — так не то заговорите.

— Что ты, почтеннейший! Я сроду хмельного в рот не брал и вкусу в нем не знаю.

— Попробуйте. Ведь вам уж пьяницею не сделаться!.. А кизлярская водка с чаем, скажу вам, лучшее лекарство от всех болезней. Лекаря обыкновенно ее отсоветывают оттого, что это лекарство отнимает у них барыши, а его действительность я сам на себе испытал. Вот, онамнясь, у бугорья мост у меня под кибиткою провалился: кучер еще как-то удержался, а меня отбросило в промоину. — по уши в воду, батюшка! Нитки сухой не осталось! Приехал домой, — день-то был морозный, — такая меня проняла трясавица, что свету Божьего невзвидел: в голову бьет, зубы стучат, руки и ноги ходенем ходят. Что ж я? Жена! давай чаю, давай водки! Да как вытянул стаканчика два, на другой день как рукою сняло. Ведь это уж видимый опыт!.. Какое бы лекарство так скоро подействовало? Послушайтесь, Иван Трофимович, попробуйте: право, благодарить меня будете! Ведь есть у вас кизлярская?..

— Держу для приятелей.

— Ну, попробуйте! Ведь раз — ничего не стоит!

Иван Трофимович послушался, попробовал; сперва было поморщился, но потом он сказал: «Странное дело!.. Водка лучше вкус придает чаю! Посмотрим, какая-то будет польза».

После двух чашек в самом деле Ивану Трофимовичу сделалось гораздо веселее. Это наслаждение он повторил и на другой день, и на третий, и на четвертый, и так далее.

Однажды сильная головная боль разбудила Ивана Трофимовича: он вскочил с постели как угорелый. Скорей к кизлярке: выпил — помогло. Через несколько времени другой толчок, и сильнее первого: опять к кизлярке, — и опять помогло. Потом еще третий, — и кизлярка уже не помогла. Тщетно Иван Трофимович увеличивал прием своего лекарства: ему все было хуже да хуже. Иван Трофимович струсил; ему уже кажется, что у него в голове что-то шевелится и царапается: беда, и только!

И с этого времени страшные сны пошли у Ивана Трофимовича. То ему кажется, что у него череп снимают, как крышку, а в черепе-то целое гнездо лягушек и всяких гадов. То ему кажется, будто он сам обратился в огромную и толстую жабу: и горько и стыдно ему!.. Хочет надеть сюртук, чтоб прикрыться, а сюртук не застегивается! — лишь рукава по воздуху болтаются!.. То, наконец, ему кажется, что у него в голове целый город Реженск, — крик, шум, скрип от возов... а по улицам все ходят не люди, а лягушки на задних лапках и с ножки на ножку переваливаются!..

Не на шутку испугался Иван Трофимович! И стыд прочь, и бросился он к лекарю.

— Батюшка, Богдан Иванович! помогите, спасите!

— Что с вами случилось, Иван Трофимович? Дайте-ка пульс пощупать...

— И! полно, батюшка!.. какой тут пульс! Помните, мы с вами недавно разговор имели об одной странной болезни?..

— Ну, помню. Так что же?

— Ну, батюшка! Эта самая болезнь со мною, грешным, и приключилась...

— Я вас не понимаю, Иван Трофимович...

— Чего тут не понимать, батюшка! Жаба у меня в голове завелась. Да!.. жаба, понимаете? Жаба в голове...

— Бог с вами, Иван Трофимович! Да с чего вы это взяли?

— Как с чего взял? Я перед вами, батюшка, как перед отцом духовным, таиться не буду; все вам расскажу. Пристрастился я к кошке... Помните, у меня кошка была, такая славная, теплая, — провал ее возьми! — черная, лоснистая... Вот и повадилась она, окаянная, мне на ухо шептать: шептала, шептала, да жабу и нашептала...

Лекарь захохотал во все горло.

— Помилуйте, Иван Трофимович! С вашим умом, и верить такому вздору?..

— Смейся, батюшка, смейся, как хочешь! — вскричал Иван Трофимович сквозь слезы. — Ведь ты не знаешь, что у меня в голове делается, а я так знаю, я ведь чувствую, как в ней кто-то проклятой царапается, — индо голова трещит; а уж болит-то она, болит-то, — едва рассудка не теряю! Что за беда такая! Уж шестой десяток живу на свете, на службе уже сороковой год всегда верой и правдой служил, и под турку ходил и под картечью бывал, дошел до звания городничего, и никогда со мною таковой оказии не бывало, а теперь, под старость лет, Бог меня посетил таким позором!.. Помогите, батюшка, помогите как хочешь, не то я сам на себя руки наложу!..

Лекарь, видя, что все его увещания будут тщетны в эту минуту, решился более не противоречить старику и сказал:

— Ну, слушайте ж, Иван Трофимович! Если подлинно в вас есть такая болезнь, то возьмите несколько терпения: я уже вам, кажется, сказывал, что я только мельком слышал о такой странной болезни, но, признательно вам откроюсь, никогда в глаза не видывал, ни в каких книгах не читывал. Дайте мне время немножко подумать да в книжках справиться. Я сам не замедлю к вам ответ принести, а теперь вот примите этот прохладительный порошок да привяжите к голове капустных листьев, а там, даст Бог, увидим, что надобно делать.

По выходе Ивана Трофимовича лекарь задумался. В нем невольно взволновалась старая студенческая кровь; он невольно вспомнил то восхищение, с каким, бывало, он и его товарищи узнавали о поступлении в клинику какого-нибудь странного больного или странного мертвого. «Что за несчастье! — говаривали они, — зима уже давно началась, а еще так мало к нам привозят замороженных кадаверов!» — «Какое счастье! — кричали они друг другу, — целых шесть славных кадаверов привезли!» А если между кадаверами попадался какой-нибудь урод с шестью пальцами, с сердцем на правой стороне, с двойным желудком: то-то радость!.. то-то восхищение!.. Новое знание! надежда открытия! пояснение наблюдений! новые толки профессора! новые системы!

Давно уже этот род наслаждения потерялся для нашего уездного лекаря; уже пятнадцать лет, как он оставил столицу; до него не дошло почти ни одного из наблюдений, сделанных в продолжение этого времени, в продолжение пятнадцати лет, — этого медицинского века! Близ него ни академии, ни журналов, ни библиотеки, а одна почти механическая работа, одна нужда доставать себе пропитание посреди людей необразованных: не с кем поверить даже самого простого наблюдения; нет минуты, чтобы привести в порядок свои опыты! все двадцать четыре часа в сутки расходуют-

ся на разъезды, на следствия, на самые мелочные занятия жизни. С отчаянием врач посмотрел на свою скудную библиотеку; [Лаврентия Гейстера](#) «Анатомия», изданная в 1775 году; какой-то «Полный Врач», того же времени; школьная диссертация его приятеля «О нервном соке»; его собственная диссертация на степень лекаря, в свое время наделавшая много шума: «О пристойном железу наименовании», с эпиграфом из Гейстера:

Железо, какая часть, чтоб сказал врач, трудно;
Ибо Доктора в том числе все учили скудно, —

несколько номеров «Московских ведомостей», школьные тетрадки — вот и все!..

С чем справиться? Где найти не только средство лечения, но даже описание болезни своего пациента?..

В досаде, в уверенности ничего не найти, он берет своего руководителя Гейстера, отыскивает главу «О голове», читает: «Содержимые части» (*contentae partes*) суть: мозг (*cerebrum*)... Около мозга головного жестокая мать (*dura mater*), или твердая оболочка над мозгом, из волокон сухожильных состоящая...»

Он бросил от себя книгу: все это было им читано, перечитано, учено и переучено!..

Тут ему пришла на мысль еще книга, которую некогда получил он в университете в награду за прилежание, которую тщательно завертывал он в бумажку и бережно хранил особо от других книг, по причине ее дорогого переплета: то был перевод книги «[О предчувствиях и видениях](#)», только что тогда появившейся в свет.

Развернув эту книгу, он напал на то место, где описывается известный поступок знаменитого Бургава в Гарлемском сиротском доме. Одна из воспитанниц дома впала в судороги, на нее смотря, другая, третья, четвертая, и таким образом почти все до последней. Бургав, видя, что это было действие одного воображения, приказал принести в комнату жаровню с угольями и щипцы и объявил, что у первой, которая впадет в судороги, станут жечь руку раскаленными щипцами. Это лекарство так устрало больных, что все они в одну минуту выздоровели.

Прочитав это описание, Богдан Иванович задумался. Продолжая читать, он встретил описание больного, который воображал, будто у него ноги хрустальные и которого излечила служанка, уронив ему на ноги вязанку дров. Потом нашел он еще описание больного, который воображал, будто у него на носу сидит муха, и беспрестанно махал рукою, тщетно желая согнать ее. «Остроумный врач, — сказано было в книге, — уверив больного, что он имеет средство излечить его, ударил его по носу ланцетом, и в ту же минуту показал больному приготовленную прежде для того муху».

Слова «остроумный врач, знаменитый Бургав» невольно остановили Богдана Ивановича.

«Что! — сказал он сам себе, — если бы и мне удалось произвести в действие подобное лечение! Я бы описал подробно темперамент моего пациента, его мономанические припадки, средство, мною придуманное для его излечения, полный успех мой, и слава обо мне пролилась бы во всем мире, мое описание послал бы я в Академию... даже в иностранных газетах возвестили бы миру о том, как редки и замечательны в летописях науки подобные случаи, какую трудность представлял Иван Трофимович для излечения, как «остроумный» врач искусно воспользовался состоянием нервного сока в своем пациенте, и прочая, и прочая: и, может быть, за это бы вызвали меня в Петербург, приняли бы в Академию? О радость! о счастье!.. Решено!

И Богдан Иванович поспешно собрал все находившиеся у него инструменты — кривые и прямые ножницы, кривые и прямые ножички; присоединил еще к ним все,

что только могло найтись в его скудном хозяйстве: вертела, пирожные загибки, обломки невинных щипцов, — все пошло впрок! Засим, в ближнем болоте он поймал огромную лягушку, согнул ей лапки, положил ее в карман камзола и с этим запасом, нахмутив брови как можно грознее, явился к Ивану Трофимовичу. Не говоря ни слова, он разложил на столе возле самого окошка, где обыкновенно сиживал Васька, все свои военные снаряды. Иван Трофимович побледнел.

— Что это? — вскричал городничий с ужасом.

— Я долго размышлял, рылся в книгах о вашей болезни, Иван Трофимович, — сказал лекарь с величайшею важностью, — и нахожу, что единственное средство для вашего спасения есть операция... правда, ужасная.

— Операция! — вскричал Иван Трофимович, — то есть провертеть мне голову!.. Нет, ни за что на свете! Уж лучше так умереть, нежели под твоими ножами...

— Но это единственное средство.

— Нет! Ни за что на свете!

— Но вы чувствуете в голове нестерпимую боль, которая будет усиливаться все больше и больше...

— Нет! Ничего не бывало!.. теперь уж все прошло...

— Но за два часа перед сим?..

— Прошло, говорят тебе! Совсем прошло! Тщетны были все усилия лекаря: он видел, что цель его испугать больного была слишком достигнута, и рассудил, что надобно несколько отдалить ее.

— Но послушайте! — сказал он. — Ведь эта операция совсем не так опасна, как вы думаете...

— Нет, отец родной! Меня не перехитришь: я сам человек лукавый. Я помню все ужасы, которые ты мне рассказывал. Я как подумаю о том, то едва голова с плеч не валится.

— Но уверяю вас, что я сделаю так искусно, так осторожно, что вы и не почувствуете...

— Какое тут искусство поможет, как начнешь мне череп сверлить!.. Дурак, что ли, я тебе дался?

Лекарь был в отчаянии. Он к Ивану Трофимовичу и с вертелом, и с ланцетом, и с щипцами: Иван Трофимович не дается. Наконец городничий рассердился, лекарь также; минута была решительная: от нее зависели и будущая слава Богдана Ивановича, и богатство, и Академия, и статьи в газетах, и завидная участь его ученого поприща. Вооруженный ланцетом, он в отчаянии бросается на своего пациента, стараясь хотя дотронуться до его головы и показать ему успех операции; но Иван Трофимович вдруг вспомнил прежнюю молодецкую силу... они борются: стол вверх ногами; чашки, чайник, все вдребезги: для обоих дело о жизни и смерти!.. И в самую эту минуту... холодная свидетельница и невинная участница происшествия, пользуясь одним из движений лекаря, изо всех сил шлепнулась на пол.

— Это что? — вскричал удивленный Иван Трофимович. — Злодей! окаянный! Ты не только хотел умертвить меня, но и посадить в голову какую-то гадину!.. Вон отсюда, окаянный!.. вон, говорю тебе!..

И с сими словами Иван Трофимович, понатужившись, выкинул Богдана Ивановича из окошка...

Доныне в архиве Реженского земского суда хранится «жалоба отставного прапорщика пехотного карабинерного полка, реженского городничего, Ивана Трофимова сына Зернушкина, на такового же уезда лекаря Богдана Иванова сына Горемыкина о разбитии фаянсовых чашек и чайника, о явном умысле предать его, Зернушкина, умертвлению и посадить ему в голову некую гадину».

Старики говорят, однако же, что с того времени Иван Трофимович освободился навсегда от своего припадка.

Катя, или история воспитанницы

(Отрывок из романа)

В один прекрасный майский вечер, — извините, в июньский, — когда наши набеленные и нарумяненные острова уведомляют петербургских жителей, что настало лето; когда петербургские жители, поверив укатанным дорожкам и напудренной зелени, запасаются палатками, серыми шляпами и разными другими снадобьями против зноя, переезжают в карточные домики, называемые дачами, затворяют в них двери, окна и в продолжение нескольких месяцев усердно занимаются химическим разложением дерева на его составные части; когда между тем дождь хлещет в окошки, пробивает кровли, ветер ломает едва насаженные деревья, а гордая Нева, пользуясь белесоватым светом ночи, грозно выглядывает из-за парапета, докладывает гостиным, что сверх ежедневных интриг, сплетней и происков существует на сем свете нечто другое, — в один из таких прекрасных вечеров, говорю, на берегу Черной речки, в загородном доме, построенном на итальянский манер, столь приличный нашему климату, несколько дам и мужчин толпились в гостиной после раута; получено было известие, что река высока, что вздулись мосты и что собираются развести их; усталая хозяйка, проклиная запоздалых гостей, радушно предложила им переждать непогоду, уверяя честию, что она в восхищении от этого случая. Гости благодарили хозяйку за ее благосклонность и, в свою очередь, проклинали ее и ее раут, который поставил их в такое неприятное положение. Когда таким образом истощился запас обыкновенных учтивостей и внутренней досады, всякий принялся за свое дело. Благоразумнейшие начали новую партию виста, менее благоразумные присели смотреть на игру, остальные атаковали камин. К этому кружку присоединился и я.

В подобных обстоятельствах над кружком людей, соединившихся в гостиной силою симпатии, обыкновенно несколько времени еще носится удушливый воздух раута; но он мало-помалу редет, язык делается развязнее, мысли крупнее. Зашла, не знаю как, речь о предчувствиях, о таинственных отвращениях и пристрастиях; пересказаны были все известные анекдоты о слепой ненависти к бабочкам, к собакам, к воде и прочему тому подобному; и естественным образом разговор обратился к впечатлениям, оставляемым в нас происшествиями нашего детства. Тогда я заметил на лице одного молодого человека, до тех пор не принимавшего участия в разговоре, легкое судорожное движение, которое было смесью досады на самого себя и какого-то раскаяния.

— Этот разговор, — сказал он, — напоминает мне одно очень простое происшествие моего детства, но которое оставило во мне не только сильное воспоминание, но провело неизгладимую черту в моем характере.

Его просили рассказать это происшествие; молодой человек облокотился на камин, и вот что я мог упомянуть из слов его.

Нужным считаю прибавить для читателей следующее физиономическое наблюдение, сделанное мною над рассказчиком.

Это было одно из тех странных лиц, которые иногда встречаются в свете между людьми нового поколения; ничто не выражается в этом лице, но оно вас останавливает; видите самодовольную улыбку, а в вас рождается невольное сострадание; в этой физиономии выговаривается что-то прекрасное, неоконченное, смешное, стра-

дающее — какой-то роман без развязки; она напоминает нам и пиитические мгновения Дон-Кихота, и растение, заморенное химиком в искусственной атмосфере, [Гётевы слова о Гамлете](#) и те странные существа, которых насмешливая природа производит на свет, как будто лишая способности к жизни. Новая наука оправдала провидение: природа не производит уродов, она производит существа, одаренные всеми органами жизни, но часто один орган развивается, а все другие остаются в затвердении; так бывает и в нравственном мире; рождаются люди с сильными мыслями, с сильными чувствами — но одно какое-нибудь чувство разовьется, поглотит жизнь всех других, ослепит само завянет, и душа сделается похожей на немую карту: видны очерки мест, но нет им названия — все безмолвно!

Разговор таких людей имеет какую-то особенность, которая не встречается у людей, привыкших ежедневно издерживать свою душу; такие люди радуются редкой минуте сильного движения; стараются вместить в нее все, что когда-то загоралось в их сердце, все, что пережило в нем потихоньку от людей. Такие люди любят останавливаться на предметах, по-видимому весьма обыкновенных, любят возгласы и отступления, — и это очень естественно; чувства и мысли, сжатые в них в продолжение времени, в минуту своего освобождения вырываются толпою, и каждая с настойчивым эгоизмом требует себе тела и образа. Эта оригинальность много теряется на бумаге.

— Я должен начать несколько издалека, — сказал молодой человек, — иначе моя история будет непонятна. Не знаю, найдется ли теперь и в Москве дом, подобный дому графини Б.; в Петербурге же наверное не сыщете. Представьте себе хоромы и жизнь старинного богатого русского боярина: дорогие штофные обои, длинные составные зеркала в позолоченных рамах; везде часы с курантами, японские вазы, китайские куклы, столы с выклеенными на них из дерева картинками; толпа слуг в ливреях, вышитых басоном с гербами; шуты, шутихи, карлы, воспитанницы, попутай, приближенные; несколько десятков человек за обедом и ужином; во время стола музыка, вечером танцы, и все это каждый день — запросто; а в праздники, на святках, на масленице — блестящие балы, маскарады, французские спектакли; словом, все возможные выдумки рассеянности. Наши деды как вы знаете любили веселиться и роскошничать; они веселились больше, нежели мы, и роскошничали со страстию, с бешенством; в этом поставляли они просвещение и гордились им не меньше нашего; со всеми изобретениями ума и вкуса они поступали как дикий, который за бутылку поддельного шампанского отдает последний топор свой, выпивает разом драгоценный напиток и не думает спрашивать, откуда добывается это вино, как его делают, отчего кипит оно, отчего оно разливает по его телу это странное и веселое ощущение.

Графиня была нам родственница и очень любила меня, по крайней мере мне так казалось, потому что в светлое воскресенье она обыкновенно присылала мне целую корзину яиц хрустальных, фарфоровых, шитых золотом; потому, что подарила мне китайца, который бегал по комнате и махал руками и которого я изломал, чтобы узнать, отчего он бежит, потому, что она нарочно для меня велела приучить москву ходить в дрожках и возить меня по саду; а пуще всего потому, что, когда я бывал у моей Коко, — так называл я графиню, — то мне позволяли лакомиться сколько душе угодно. Все дело было в том, что я был, чему вы теперь не поверите, краснощекий, пухленький мальчик с русыми кудрями и что моя Коко любила всех детей без исключения.

Это пристрастие к детям умножало в доме графини число воспитанниц, которые и без того, по заведенному исстари порядку, должны были находиться в каждом московском порядочном доме; но любимая ее воспитанница называлась Катей. Знаете ли вы, что такое воспитанницы у московских барынь? Самые несчастные существа в мире. Вот это как делалось и, думаю, до сих пор делается: берут дворяночку или свою крепостную, одевают ее, воспитывают вместе с своими детьми, ласкают ее до тех пор,

пока она не подрастет, — словом, поступают точь-в-точь как природа, которая своего избранного дарит сильным воображением, раздражительною чувствительностию, для того чтобы он впоследствии живее чувствовал все терзания жизни. С возрастом начинаются страдания бедной воспитанницы: она должна угождать всему дому, не иметь ни желаний, ни воли, ни своих мыслей; одевать барышень, работать для них и за них; носить собачку; со смирением вытерпливать дурное расположение духа своей так называемой благодетельницы; смеяться, когда хочется плакать, и плакать, когда хочется смеяться, и при малейшей оплошности слушать нестерпимые для юного, свежего сердца упреки в нерадении, лени, неблагодарности! А сколько маленьких страданий, которые, может быть, нам и непонятны, но очень чувствительны для бедной воспитанницы в ее маленьком круте: слуги завидуют ей и вымещают на ней злость свою на господ, не встают перед вею, отвечают ей с грубостью, обносят за столом; мужчины не стыдятся говорить при ней о вещах, о которых не говорят при девушках; ее возят в театр, когда в ложе просторно, возят на гулянье, когда в карете есть лишнее место; если же, к несчастью, она хороша собою, то ее обвиняют в неудаче барышень, гонят на мезонин, когда в гостиной есть женихи на примете; и она осуждена или свой век провести в вечном девстве, или выйти замуж за какого-нибудь чиновника четырнадцатого класса, грубого, необразованного, и после довольства и прихотей роскошной жизни приняться за самые низкие домашние занятия. Вы не знаете, что такое жизнь нашего среднего класса, — она очень любопытна; жаль, что еще никто из авторов не обращал на нее внимания; но я не стану говорить о ней, это бы завлекло меня в другую материю; вообразите себе только все тщеславные потребности богатого человека, соедините их со всеми недостатками нищеты; вообразите себе только, что в доме какого-нибудь канцеляриста, получающего в год не более тысячи рублей, наблюдается большая часть того, что и в богатом доме; и все, что здесь делается с помощью больших расходов и многочисленной прислуги, — у него исполняется одною матерью семейства! Но я заговорился и до сих пор еще не рассказал моего происшествия. Итак, прибавлю только, что Катя была дочь одного из графининых официантов; ее миловидное личико понравилось графине, и она взяла ее воспитывать вместе с двумя своими дочерьми, учила ее вместе с ними, одевала ее в одинаковые с ними платья; когда было нечетное число, Катя садилась за стол; когда недоставало пары, Катя танцевала. В то время, о котором я говорю, ей было лет десять, а мне шесть. Я очень полюбил Катю; графиня заметила это и потому всегда заставляла Катю забавлять меня; и бывало, что я приеду, милая Катя ко мне навстречу, бежит со мной по саду, показывает картинки, рассказывает сказочки, заставляет китайских куколок качаться и выставлять языки. Вот однажды у графини детский маскарад; я, разумеется, приглашен; в первый еще раз в жизни меня повезли на бал, и я был вне себя от радости; но не знаю, как-то я запоздал, кажется оттого, что на мне долго поправляли гусарский шитый мундир; помню только, что этот мундир придал мне большую гордость, особливо когда, вошедши на бал, я увидел, что всех лучше одет и что все глаза обратились на меня, что все, как водится, окружили меня, удивлялись, целовали. Другие дети уже танцевали, и мне не осталось ни одной маленькой дамы, кроме Кати; мне подвели ее; но я, я не знаю, что сделалось со мною, — я гордо закинул золотые кисти моего кивера, которые больше всего наряда мне нравились, тряхнул саблею и сказал, что не хочу танцевать с холопкою. И что же? вместо того чтобы выдрать мне уши, заставить у Кати просить прощения, заставить танцевать с нею, — все, напротив, стали смеяться и хвалить меня: «Вот молодец! славно! славно! Как можно князю, да еще гусару, танцевать с холопкою?» Так понимают у нас воспитание! Но Катя заплакала, увидев ее слезы, заплакал и я — я вспомнил, как она еще вчера потихоньку от моей гувернантки вывела у меня из платья воск, которым я залил себя, махая свечою, чтобы показать ей, как в балете плясали фурии, — ибо мне строго запрещено было дотрагиваться до свечей... простите мне, что я упоминаю обо

всех этих мелочах; они все так живы в моей памяти, что когда я заговорю об одном происшествии, то одно тянет другое. Когда бедная Катя заплакала, мне жалко ее стало; но, судя по словам *больших*, я подумал, что сделал очень хорошо, и как мне ни грустно было, как тайный невнятный голос ни упрекал меня, но я, для поддержания своего характера, отворотился от Кати и гордо взял за руку графиню, которая, чтобы утешить меня, сама пошла танцевать со мною, повторяя со смехом слова мои. Я погрузился недолго, все окружающее рассеяло меня, и я пропрыгал целый вечер до упаду, а Катя целый вечер проплакала; ибо после того, что я сказал, никто уже не хотел танцевать с нею. Тогда мой детский ум приписывал слезы Кати только тому, что она не танцевала, и я легко утешал себя, повторяя слова, заслужившие всеобщее одобрение: она холопка! Уже впоследствии, входя в лета, узнав больше Катю и размышляя о том, как рано развернулся в ней ум и как рано она начала понимать свое положение, я постигнул, как я жестоко оскорбил ее; несчастные происшествия, которые сопровождали Катю в ее жизни, заставили меня рассчитать, что я первый познакомил ее с тем унижением, которое ожидало ее в жизни, и эта мысль обратилась мне в жесточайший упрек, и в упрек столь сильный, что его впечатление до сих пор во мне осталось, и часто, когда мне грустно или я пересчитываю все дурное, сделанное мною в жизни, я невольно вспоминаю о моем поступке с Катей и не могу себя разуверить, чтобы когда-нибудь провидение не наказало меня за это в сей или будущей жизни. Этого мало: несколько часов нечувствительности, с которою я смотрел на слезы Кати, так подействовали на меня, что я до сих пор пугаюсь впечатления, ими во мне оставленного, и не могу выбить себе из головы, чтобы в характере моем не было какого-то врожденного жестокосердия, которое рано или поздно может развернуться, — и смейтесь надо мною как хотите, — я часто бываю уверен, что потерю самого милого человека перенесу хладнокровно; что даже мне недостает только случая, чтобы совершить хладнокровно величайшее преступление. Можете себе представить, какое влияние эта мысль, ни на минуту меня не оставляющая, производит на меня в разных случаях, встречающихся в жизни; сколько раз, боясь употребить некоторую твердость, я оставался в дураках, потому что она мне казалась пробуждением моего внутреннего порока; сколько раз я позволял людям с маленькою душою одерживать надо мною маленькие победы, единственно потому, что боялся употребить гнев, насмешку, эти нравственные оружия, которыми природа снабдила нас для нашего защищения и которые так часто бывают необходимы в жизни! Я без шуток пугаюсь моей страсти к анатомии; поверите ли, что я не хотел читать жизни *Брянвилье* — так пустое происшествие детства провело неизгладимую черту в моем характере.

Молодой человек остановился.

— Где теперь ваша Катя, и что с нею сделалось? — спросила одна дама.

— Я вам почти рассказал ее историю, говоря об участии воспитанниц; особенные происшествия ее жизни требуют долгого рассказа, и в них столько романтического, что вам покажется, будто я выдумываю.

Разговор кончился, но любопытство мое было возбуждено, и я не оставил в покое молодого человека, пока он не рассказал мне следующего происшествия.

— Повторяю вам, — сказал он, — что я рассказываю не роман; и потому не ищите в моем рассказе ни классической интриги, ни романтических нечаянностей, к которым приучили нас остроумные сочинители *Барнава* и *Саламандры*, ни рачительного описания кафтанов, которыми щеголяют подражатели Вальтера Скотта. Моя история — природа во всей наготе или во всем своем неприличии — как хотите.

Чтоб не утомлять вашего внимания, я начну с того, что прочту вам афишку остальных действующих лиц в моей истории; их немного: старый граф, муж графини, которого звали Жано; сын его с левой стороны, Владимир, которого звали Вово; и еще одно лицо, по имени Борис, которого звали Бобо. Старого графа я почти не знал; он

беспрестанно был в разъездах: на короткое время приезжал в Москву, давал большой обед и снова уезжал в Петербург или в чужие края. Старый граф, как мне после рассказывали, был — что тогда называлось — *философ*, то есть был страшный волокита, писал французские стихи, не ходил к обедне, не верил ни во что, подавал большую милостыню встречному и поперечному; в его голове странным образом уживалась высочайшая филантропия с совершенным нерадением о своих детях и самая глупая барская спесь с самым решительным якобинизмом. Редкие образчики нравов того времени еще до сих пор остались в нашем обществе, но, благодаря Бога, с каждым днем исчезают, — и это одно может служить против обвинителей нынешнего века важным доказательством, что мы лучше наших дедов. Частию по правилам, частию по привычке, старый граф не посовестился прижить с одной из своих крепостных Владимира, сказать о том жене, как о деле самом обыкновенном, и сделать из него *воспитанника*. Моя добрая Коко все простила мужу; теперь этому не поверят, но в то время в нашем обществе такие примеры были не редки, и минутная склонность, *нечего делать*, тогда позволяли себе то, чего теперь не позволят самой истинной, самой горячей любви, основанной на взаимном согласии характеров, занятий, образа мыслей. Истинно мы лучше, хотя и несчастливее наших дедов. Коко моя, по пристрастию к детям, очень любила Владимира и холила и нежила его, как родного сына.

Бобо был существо особенного рода. Еще до своей женитьбы граф Жано вывез из Италии для замыслов каких-то непонятных некоего юношу, которого звали Паулино и который был у графа нечто среднее между секретарем и камердинером. Хитрый итальянец умел вкратце в доверенность графа и завладеть всеми его делами; Паулино, по тогдашнему обычаю, поспешили записать в какую-то экспедицию, и через несколько времени итальянец Паулино обратился в русского коллежского асессора Осипа Ивановича Павлинова. Коллежский асессор Павлинов не замедлил жениться на немке, графининой кастелянше, и от сего пошел род коллежских асессоров Павлиновых, которых ревностная служба переходила от звания камердинера до столового дворецкого и наконец до управителя. Отец Бобо попал в сию последнюю должность, но сынку своему готовил уже другую участь. Между тем Бобо, по заведенному порядку, попал в любимцы и воспитанники графини.

Когда я узнал этого Бобо, ему было уже лет двенадцать. Я никогда не любил его; избалованный до крайности своей матерью, он был груб и нагл, ходил всегда насупив брови, говорил отрывисто, дерзко и смеялся только тогда, когда мог потихоньку от графини раздражить меня или Катю. Он сдувал карточные домики, которые мы с нею строили, заливал чернилами мои любимые картины и мою милую Катю называл не иначе, как Катькой, а после моего несчастного происшествия в маскараде прибавил к этому имени название холопки и, зная, что одним этим словом мог привести меня в слезы, старался повторять его как можно чаще; почему знать, может я моею бессмысленною фразою посеял в тяжелом мозгу его такие мысли, которые без того не пришли бы ему в голову. Некоторые из слуг с лакейскою дипломатическою проницательностью разочли, что со временем их судьба будет зависеть от Бобо и что его естественным соперником может быть один Владимир; они, подделавшись к порочным наклонностям Бориса, растолковали ему, что после смерти отца он будет головою в доме графини, рассказали ему, кто таков Владимир, и поселили к нему такую ненависть, что Борис не мог пройти мимо Владимира, не давши ему толчка, не ущипнув его или не сделавши с ним какого-нибудь другого дурачества. Владимир был моложе его тремя годами, но не уступал и платил ему тем же; оттого дня у них не проходило без ссоры; графиня разбирала их, мирила, наказывала то того, то другого, попеременно заставляла просить друг у друга прощенья, — и тем только увеличивала их взаимное отвращение. С летами Борис стал хитрее и осторожнее; при графине он скрывал

свою ненависть к Владимиру и называл его Володею или Вово, — но за глазами матери отворачивался от него и, говоря про Владимира, называл его не иначе, как *барином*, имя, которое в насмешку дали ему слуги.

Между тем я возрастал, и с тем вместе страсть моей Коко ко мне холодела; я все еще называл ее этим именем, но, занятый ученьем, я уже гораздо реже стал к ней ездить; скоро другой пухленький мальчик занял мое место; меня же отвезли в пансион в Петербург, и я потерял из вида мою Коко и Катю.

Между тем Владимир и Катя, живя вместе, учаь у одних учителей, рано гонимые завистью воспитанниц и воспитанников графини, ее слуг и служанок, — рано стали искать утешения друг в друге; сначала они взаимно стали поверять свои маленькие страдания; но эти страдания с каждым днем росли более и более, с тем вместе увеличивалась их привязанность, и они все живее и живее чувствовали необходимость друг в друге.

Владимир был настоящий, как говорят, герой романа, невысокого роста, сухощавый; глаза черные навывкате; несколько смуглое лицо придавало ему вид, похожий на итальянца, — в самом деле, в душе его живые полуденные страсти были прокалены холодною славянскою кровью. Рано он понял, что в жизни предстоит ему беспрестанное борение и что ему должно было полагаться на одного себя: он с пламенным рвением принялся за ученье. Катя разделяла его труды; они с жаром прочитывали все, что им ни попадалось, далеко оставив за собою молодых графинь и Бобо, которые учились только из приличия.

Вышед из пансиона, я поехал на время в деревню; мимоездом мне надобно было быть в Москве, и я остановился нарочно на несколько часов только для того, чтобы посетить мою Коко. Какую перемену нашел я в ее доме! ее нерасчетливая расточительность, жизнь графа в чужих краях, где он был в связи с какою-то актрисой, — совершенно расстроили имение графини; большая часть его была продана на удовлетворение кредиторов, и графиня увидела себя принужденною значительно уменьшить свои издержки. Я пробежал несколько комнат, которые были свидетелями веселых игр моего детства; в них лишь одна многочисленная толпа слуг и китайские болванчики напоминали о прежнем великолепии; обои полиняли и истрескались; мебель была изорвана и изломана; позолота на зеркалах потускла; в огромных комнатах горело по одной свечке, а иные совсем не были освещены. Я вошел в гостиную: за круглым столом, за одною лампою, сидели графиня в больших креслах, ее две дочери и Катя, — все они ничего не делали, и глубокое молчание царствовало между ними. Катя поразила меня; ребяческая красота ее исчезла, она сделалась не красавицею, но получила лицо чрезвычайно выразительное, этот размышляющий взор на ее прекрасном личике, эти свежие, полные жизни прелести стана — и... эта прекрасная ножка, на которую я не мог смотреть равнодушно... Я не узнал Катю, смешался, — графиня мне очень обрадовалась и после обыкновенных расспросов и приветствий сказала мне: «Да, мой милый, ты молодеешь, а я старею, дряхлею и скучаю; спасибо тебе, что ты не забыл обо мне; добрый ты человек, теперь уж все меня забывают; в нынешнем свете не помнят стариков, и, правду сказать, там и ничего не помнят». Все слова ее отзывались горечью оскорбленного тщеславия и мелкой, но горячей завистью ко всем возможным успехам; я не могу постигнуть, откуда это последнее чувство закралось в доброе сердце моей Коко. Но это было так! Коко сделалась завистлива, и очень завистлива. Зная, что ничем столько нельзя сделать удовольствия московским дамам, как рассказывая петербургские новости, я не щадил языка, но еще иногда спрашивают, правда ли, будто бы необразованные люди злее образованных; да этого не может быть иначе! Человек образованный, чувствуя в себе потребность выкинуть свою желчь, старается дать ей опрятный вид благовоспитанной эпиграммы, потом любит ее,

разносит ее, а это требует времени, развлекает, и нечувствительно в так называемом злом человеке остается столь же мало злости, как в сатирическом поэте; простолюдину не нужны эти усилия, он злится просто, без обвиняков, — что он ни скажет, что ни сделает, все хорошо, лишь бы только в том было злое намерение; и оттого ему наслаждение злиться гораздо преступнее, нежели для нас. Так было и с моею Коко: при всяком моем рассказе, где только дело коснется до какого-нибудь собственного имени, моя Коко вспыхнет, усмехнется, скажет одно слово — только одно слово, но в этом слове целый мир злости, досады, презрительного удивления! Какая-нибудь лента, звезда, наследство были для нее личным оскорблением, и скоро она не шутя начала на меня сердиться за мои рассказы. Я обратился к молодым графиням, — графини были глупы и пусты до чрезвычайности, дурного тона, мешали русский язык с французским; их интересовали одни свадьбы, женихи и невесты, а свадьбы, женихи и невесты бесили мою Коко. Я к Кате, — Катя испугалась, смешалась, едва отвечала мне и наконец, выбравши свободную минуту, с ужасом сказала мне: «Бога ради! говорите с графинями!» В этих словах мне изобразилась вся горесть ее положения, но я еще не вполне понимал его; уже гораздо после оно совершенно мне объяснилось; вот что узнал я впоследствии.

Графиня, несмотря на развращение нравов своего времени, была строгою блюстительницею нравственности: может быть, то самое, чего она была свидетельницею, произвело эту полицейскую черту в ее характере, и она, судя о настоящем по прошедшему, никак не могла вообразить себе женщину вместе с мужчиною, и особенно в дружбе, и чтобы из этого не вышло чего-нибудь дурного. В свете она уже давно спрашивала, о чем молодые люди находят говорить между собою, когда в ее время они только танцевали или амурились; еще более пугало ее то, что оба пола нового поколения, уверенные в своей невинности, говорят о всех возможных предметах без всякого смущения: это ей казалось последнюю степень разврата, то есть тою степенью, где уже разврат кидает свою личину; всего этого она как-то не понимала, — словом, мне очень трудно объяснить вам систему графини, и она сама не взялась бы за это: это был нескладный сброд нескладных слов, которые она почитала мыслями; несколько старых анекдотов, которые она называла плодами опытности, и две или три причуды, которые она называла правилами нравственности, — отыщите тут какой-нибудь толк! Но, несмотря на то, она своей системе верила больше, нежели иезуит католицизму. Впрочем, образчики моей графини можете еще найти между некоторыми почтенными дамами, которыми унижены диваны гостиных, и которые уверены, что все люди на свете живут и движутся для того только, чтобы им было о чем поговорить, и которые, привыкши в свое время видеть величайшую безнравственность под самыми щекотливыми формами и некогда сами принимавшие участие в этом маскараде, не могут себе вообразить, чтобы под ничего не пугающею откровенностию могли скрываться самые невинные и, увы! может быть, самые холодные нравы.

Как бы то ни было, графиня, как скоро ее молодые люди стали подрастать, благоразумно отделила мужской пол от женского; разные часы ученья, разные комнаты, собираться только за обедом и ужином под надзором гувернеров и гувернанток, которым прочтена проповедь о благочинии, не говорить, не подходить, — словом, все разочтено, предусмотрено. Графиня была очень довольна собою, — одного только не заметила ее прозорливая опытность, одного! — что новое поколение родилось после старого и что оно в общем счете жизни человечества старее старого, и потому раньше старого стало жить и чувствовать. Еще графиня думала о своих новых планах неукоризненной нравственности, а уж Владимир и Катя были по уши влюблены друг в друга, у них завелись все маленькие споры и ссоры любви, упрёки в холодности, ревность, особенно со стороны Владимира, который ревновал Катю ко всем, начиная от Бобо до

старой графини. Однажды — тогда только начался век унылых элегий — Владимир в минуту какого-то отчаяния не мог утерпеть, чтобы не положить в ридикюль Кати каких-то романтических стихов. По несчастью, эти стихи как-то попались графине; долго она читала их и никак не могла решить, любовные ли они, или нет; как бы то ни было, она строго запретила Владимиру предаваться поэтическим мечтаниям, а Кате получать их, и надзор за ними был удвоен. Пока у графини были вечера и балы, этот надзор не мог быть доведен до последней степени совершенства; но когда балы прекратились, знакомые начали мало-помалу оставлять графиню, а наконец и совсем оставили, попечение о благочинии в доме сделалось единственным, главным занятием графини. Как объяснить вам мучительное действие этого надзора на моих молодых любовников, — право, не знаю. Наши молодые люди XIX века рассудительны, их патетические минуты всегда пополам с балом, с партией виста, и любовь у нас разменялась на мелкую монету, по той же причине, по которой в гостиных музыка обратилась в холодную нежность [итальянской кавалетты](#), а живопись в закопченную бумажку; промышленность XIX века умела приспособить святое мучительное чувство любви к нашей лени, к удобствам жизни: она сделала его чем-то карманным, как записную книжку, как перчатку; можете его надеть, скинуть, выверотить, и оно все останется тем же. Даже что значит любопытная бдительность наших полицейских чепчиков? (*Nos bonnets de police?*) — они рассеяны и вистом, и придворными новостями, тузами и валетами всякого рода, — много, много, что им достанется наслаждение расстроить две, три свадьбы, нарушить спокойствие двух, трех семейств, и то с грехом пополам; молодое поколение прижало их к стенкам диванов, откуда они не смеют пошевелинуться, чтоб не потерять места. Аббат [Леменне](#) написал «Опыт о равнодушии в делах веры», бедный аббат! ты не знал общества! Я хочу помочь твоей близорукости и написать для гостинного употребления целую коллекцию таких опытов, как-то: опыт о равнодушии в деле искусства, опыт о равнодушии в деле наук. Опыт о равнодушии в деле правды, в деле ума, в деле несчастья, в деле чести, в деле подлости, в деле лести, коварства, грабежа и проч. Теперь вообразите себе все противоположное тому и перенеситесь в маленький круг моей Кати.

Едва начиналось утро, Катя обязана была являться к своей благотельнице, делать чай, сводить счета, толковать об уборах для молодых графинь, — в этом занятии проходило полдня; ибо графиня, держась старинных правил, находила неприличным и вовсе ненужным позволять девушкам прогуливаться пешком; огромная четвероместная карета с четверкою поседевших от старости лошадей хранилась только для торжественных выездов семейства, ко всенощной, в дальний монастырь или на обеденный стол к архиерею; после обеда молодые графини садились к окошку, и разговор еще несколько поддерживался: пешеходец, изредка проходивший мимо дома с совершенно невинным намерением, простучавшие дрожки, а за недостатком того и другого, пробежавшая собака, крик разносчика, — обо всем было переговорено, перетолковано, выведены все возможные заключения; все окошки в домах пересмотрены, изучены, все трубы пересчитаны и к сумеркам или в длинные зимние вечера нашим милым графиням, естественным образом, не оставалось никакого другого занятия, кроме Кати. Обыкновенно графини начинали понемножку ее мучить, сперва начинали смеяться над ее молчанием, ее туалетом, потом каждое ее слово служило поводом к комментариям; если она осмеливалась взять книгу, то говорили ей, что она капризничает; если она принималась за рукоделье, то хулили ее работу; если она молчала, у нее спрашивали, не ссохлись ли ее губы; если она начинала говорить, то называли ее болтуньей. Но главным предметом нападений был Владимир; по приказанию старого графа Владимир ходил учиться в университет и только за обедом являлся в семейство графини. Как у всякого молодого человека, начинающего понимать свои познания, сколько свежих чувств, сколько де-

вственных мыслей, не зараженных сомнениями, зарождались в душе его; как хотелось ему передать себя Кате, удивить каким-нибудь новым чудом природы, только что им узнанным, перенести ее в свой мир мечтаний, пересказать все изменения, которые беспрестанно творились в его уме и сердце!

Кто не испытал этого чудного чувства прозелитизма, которое тревожит юную душу, полную жизни и деятельности? всем бы поделился, все бы передал, что есть на уме и на сердце; простолюдин дарит своей любезной свою последнюю драгоценность; художник отдает ей познание, которое поразило его вчера, чувство, которое вчера его встревожило — все то, что вчера загорелось в нем и что потому ему кажется целию человеческой жизни. Холодные или устарелые люди смеются над этим прозелитизмом, не замечая того, что и в них он существовал и претворился в охоту рассказывать новости, давать советы встречному и поперечному, — что в них выпарилось все прекрасное и святое этого побуждения, а остался один его холодный себялюбивый осадок.

Владимиру страшно было подумать, что он с каждою минутой идет вперед, что с каждым шагом его ум светлеет, чувство разгорается, мысли ото дня более и более смыкаются в тесные пределы выражений, как целые алгебраические выкладки в одну условную букву, а его Катя не знает об этом, его новые выражения для новых мыслей ей неизвестны, она, может быть, разучится понимать его иероглифы!

Графиня не входила в эти отвлеченности; она судила попросту, по-старинному: она бы не прочь и женить Владимира на Кате, но до уреченного часа она находила, что непристойно, не следует, да и не о чем молодой девушке говорить с молодым мальчиком — и уста нашего пламенного юноши сомкнулись бдительностью графини: едва осмелится он подойти к Кате, едва долго сжатые мысли и чувства вырвутся из души его, как взгляд графини прерывал его ораторский восторг, и снова стеснялся в душе недоговоренные слова и душа умирает в муках рождения. Между тем минута пройдет, мысль, которая должна была развиться в это мгновение, уступит место другой, эта третьей — и каждое превращение, сомкнутое в душе юноши, терзает его нестерпимыми муками. Наконец осталось одно бедному Владимиру — взоры: ими хотел он передать Кате тот мир мыслей и чувств, который ежеминутно рождался и исчезал в его сердце... но тут являлись молодые графини; этим просто завидно было действие, производимое Катею на молодого человека: они бы оскорбились, если б кто вздумал им предложить жениха вроде Владимира; но иметь беспрестанно пред глазами влюбленного молодого человека, и влюбленного ни в одну из них, — это было им верх мучения. Откуда бралась у них тонкость в этих случаях? откуда остроумие? откуда изобретательность? и насмешки, и брань, и угрозы, и злословие — все было употреблено ими, чтобы расхолодить наших любовников, и все было тщетно... любовь изобретательнее ненависти.

В Владимире развернулась страсть к живописи; долго скрывал он свою работу и вдруг явился к графине с копией [Карло-Долчево](#)й Цецилии; он рисовал эту картину с жаром; он думал в ней видеть сходство с Катею; небесный взор Цецилии, святое выражение ее лица, орган, который, казалось, звучал под ее пальцами, все это изображало ему тихую гармонию души его любезной, это спокойствие христианского смирения, это уверенное в себе самоотвержение, эту грусть умного человека, это понявшее себя уныние. Он хотел, чтобы Цецилия была идеалом для его Кати, чтобы она высказывала ей то, чего не могли выразить слова его, и Катя поняла его. Графиня видела в этой картине очень полезное занятие для молодого человека и поспешила ее отправить к своему мужу, находящемуся тогда в Италии.

Эта посылка имела важное влияние на судьбу нашего юноши. Старый граф, почитавший себя за знатока живописи, был прельщен произведением своего воспитанника, вообразил, что он родился живописцем, и прислал приказание Владимиру отправиться в Италию...

Княжна Мими

«Извините, — сказал живописец, —
если мои краски бледны: в нашем
городе нельзя достать лучших».

Биография одною живописца.

I

Бал

*La femme de César ne doit pas être soupçonnée.*¹

— Скажите, с кем вы теперь танцевали? — сказала княжна Мими, остановив за руку одну даму, которая, окончив мазурку, проходила мимо княжны.

— Он когда-то служил с моим братом! Я забыла его фамилию, — отвечала баронесса Даурталь мимоходом и, усталая, бросилась на свое место.

Этот короткий разговор незаметно для окружающих мелькнул посреди общего движения, которое обыкновенно бывает после окончания танца.

Но баронессу этот разговор заставил задуматься, и не даром. Баронесса, хотя уже и в другой раз замужем все еще была молода и прекрасна; ее любезность, ее роскошный стан, ее каштановые шелковистые локоны привлекали к ней толпу молодых людей. Каждый из них невольно сравнивал Элизу с ее мужем, осиплым старым бароном, и каждому из них, казалось, ее томные, облитые влагою глаза говорили о надежде: лишь один опытный наблюдатель находил в этих темных голубых глазах не пламень неги, а просто ту южную лень, которая, по его мнению, так странно соединяется в наших дамах с северным флегматизмом и составляет их отличительный характер.

Баронесса знала все свои преимущества; знала, что для всякого она вместе с бароном была чем-то невозможным, противным приличию, какою-то нелепостью; знала и то, как во время ее свадьбы толковали в городе, что она вышла за барона по расчету; ей нравилось не сходить с доски на балах, никогда не иметь времени задуматься на раутах, всегда иметь несколько готовых товарищей для кавалькады; но никогда она не позволяла себе ни взора, в котором можно бы было заметить предпочтение одному пред другим, ни сильного восхищения, ни сильной радости, ни сильного огорчения — словом, ничего такого, чем бы душа могла быть приведена в движение: притом, по чувству ли долга, или по какой-то противоестественной любви к своему мужу, — хотелось ли ей доказать, что она вышла за него не по расчету, — или просто потому, что вышеозначенное замечание наблюдателя было справедливо, — или, наконец, от соединения всех этих причин, — только баронесса так же была верна барону, как ее Бьюти была верна баронессе: она никуда не выезжала без мужа, даже спрашивала у него советов о своем туалете; барон, с своей стороны, не сомневался в привязанности Элизы, позволял ей делать что угодно и спокойно предавался своим любимым занятиям: поутру нюхал табак, ввечеру играл в вист, а в промежутках выхлопывал себе на гражденье. В городе издавна уже добродетельные дамы отыскивали предмет баронессиней нежности; но, когда они для решения вопроса собирались на общее совещание, одна называла одного, другая другого, третья третьего, и дело расходилось за спором.

¹ Жены Цезаря не должно коснуться подозрение (франц.).

Тщетно перебирали они всех молодых людей общества: только что согласятся про одного, как он или женится, или станет волочиться за другою, — отчаяние, да и только! Наконец такие беспрестанные неудачи наскучили блюстительницам нравственности: они нашли, что баронесса лишь отнимает у них время для наблюдения за другими дамами; единогласно решили, что ее искусство сохранять наружную пристойность стоит лучшей нравственности, что ее должно ставить в пример другим женщинам, и отложили баронессино дело впредь до могущих представиться обстоятельств.

Баронесса знала, что княжна Мими принадлежала к сему нравственному сословию, знала также, что это сословие, в свою очередь, принадлежит к тому страшному обществу, которое бросило свои отпрыски во все классы. Открываю великую тайну; слушайте: все, что ни делается в свете, делается для некоторого безыменного общества! Оно — партер; другие люди — сцена. Оно держит в руках и авторов, и музыкантов, и красавиц, и гениев, и героев. Оно ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести. Оно судит на жизнь и смерть и никогда не переменяет своих приговоров, если бы они и были противны рассудку. Членов сего общества вы легко можете узнать по следующим приметам: другие играют в карты, а они смотрят на игру; другие женятся, а они приезжают на свадьбу; другие пишут книги, а они критикуют; другие дают обед, а они судят о поваре; другие дерутся, а они читают реляции; другие танцуют, а они становятся возле танцовщиков. Члены сего общества везде тотчас узнают друг друга не по особенным знакам, но по какому-то инстинкту; и каждый, прежде нежели вслушается в чем дело, уже поддерживает своего товарища; тот же из членов, кто выдумает *что-нибудь* делать на сем свете, в ту же минуту лишается всех преимуществ, сопряженных с его званием, входит в общее число подсудимых, и ничем уже не может возратить прав своих. Известно также, что самую важную роль в этом судилище играют те, про которых решительно нельзя отыскать, зачем они существуют на сем свете.

Княжна Мими была душою этого общества, и вот как это случилось. Надобно вам сказать, что она никогда не была красавицею, но в юности была недурна собою. В это время она не имела никакого определенного характера. Вы знаете, какое чувство, какая мысль может развернуться тем воспитанием, которое получают женщины: канва, танцевальный учитель, немножко лукавства, *tenez vous droite*¹ да два, три анекдота, рассказанные бабушкою как надежное руководство в сей и будущей жизни, — вот и все воспитание. Все зависело от обстоятельств, которые должны были встретить Мими при ее вступлении в свет: она могла сделаться и доброю женою, и доброю матерью семейства, и тем, чем теперь она сделалась. В это время у ней бывали и женихи; ко никак дело не могло сладиться: первый ей самой не понравился, — другой был не в чинах и не понравился матери, третий было очень понравился и той и другой, уже сделано было и обручение, и день свадьбы был назначен, но накануне, к удивлению узнали, что он им в близкой родне, все расстроилось, Мими занемогла с печали, чуть было не умерла, однако же оправилась. Затем, женихи долго не являлись; прошло десять лет, потом и другие десять, Мими подурнела, постарела, но отказаться от мысли выйти замуж было ей ужасно. Как! отказаться от мысли, о которой твердила ей матушка в семейных совещаниях; о которой ей говорила бабушка на смертной постели? от мысли, которая была любимым предметом разговоров с подругами, с которою она просыпалась и засыпала? Это было ужасно! И княжна Мими продолжала выезжать в свет с беспрестанно новыми планами в голове и с отчаянием в сердце. Ее положение сделалось нестерпимо: всё вокруг нее вышло или выходило замуж; маленькая вертушка, которая вчера искала ее покровительства, нынче уже сама говорила ей тоном покровительства, — и не мудрено: она была замужем! у этой был муж в звездах и лентах! у другой муж играл в большую партию виста! Уважение от мужей переходило к женам; жены по мужьям имели голос и силу; лишь княжна Мими оставалась одна,

¹ держитесь прямо (франц.).

без голоса, без подпоры. Часто на бале она не знала, куда пристать — к девушкам или к замужним, — не мудрено: Мими была незамужем! Хозяйка встречала ее с холодной учтивостью, смотрела на нее как на лишнюю мебель, и не знала, что сказать ей, потому что Мими не выходила замуж. И там и здесь поздравляли, но не ее, но все ту, которая выходила замуж! А тихий шепот, а неприметные улыбки, а явные или воображаемые насмешки, падающие на бедную девушку, которая не имела довольно искусства, или имела слишком много благородства, чтобы не продать себя в замужество по расчетам! Бедная девушка! Каждый день ее самолюбие было оскорблено; с каждым днем рождалось новое уничижение; и, — бедная девушка! — каждый день досада, злоба, зависть, мстительность мало-помалу портили ее сердце. Наконец мера переполнилась: Мими увидела, что если не замужеством, то другими средствами надобно поддержать себя в свете, дать себе какое-нибудь значение, занять какое-нибудь место; и коварство — то темное, робкое, медленное коварство, которое делает общество ненавистным и мало-помалу разрушает его основания, — это общественное коварство развилось в княжне Мими до полного совершенства. В ней явилась особого рода деятельность: все малые ее способности получили особое направление; даже невыгодное ее положение обратилось в ее пользу. Что делать! Надобно было поддержать себя! И вот княжна Мими, как девушка, стала втираться в общество девиц и молодых женщин; как зрелая девушка, сделалась любезным товарищем в глубоких рассуждениях старых почтенных дам. И ей было время! Проведши двадцать лет в тщетном ожидании жениха, она не думала о домашних заботах; занятая единственною мыслию, она усилила в себе врожденное отвращение к печатным литерам, к искусству, ко всему, что называется чувством в сей жизни, и вся обратилась в злобное, завистливое наблюдение за другими. Она стала знать и понимать все, что делается перед нею и за нею; сделалась верховным судьей женихов и невест; приучилась обсуждать каждое повышение местом или чином; завела своих покровителей и своих питомцев (*protégés*); начала оставаться там, где видела, что она мешает; начала прислушиваться, где говорили шепотом; наконец — начала говорить о всеобщем развращении нравов. Что делать! Надобно было поддержать себя в свете.

И она достигла своей цели: ее маленькое, но постоянное муравьиное прилежание к своему делу или, лучше сказать, к делам других, придало ей действительную власть в гостиных; многие боялись ее, и старались не ссориться с нею; одни неопытные девушки и юноши осмеливались смеяться над ее поблекшей красотой, над ее нахмуренными бровями, над ее горячими проповедями против нынешнего века и над неприятностью, обратившеюся ей в привычку, приезжать на бал и уезжать домой, не сделавши даже вальсового круга.

Баронесса знала все могущество княжны Мими и страшного ее судилища; хотя чистая, невинная, холодная, уверенная в самой себе, она и не боялась его преследований: до сих пор избегать их помогали ей самые обстоятельства жизни; но теперь баронесса находилась в весьма затруднительном положении. Границкий, с которым она только что танцевала, был прекрасный, статный молодой человек, с густыми черными бакенбардами; он почти всю свою жизнь провел в чужих краях, где подружился с братом баронессы; брат баронессы жил теперь в ее доме, а Границкий у ее брата, он почти ни с кем не был знаком в городе; каждый день обедал и выезжал с ними вместе: словом, все сближало его с баронессою, и она понимала, какой прекрасный роман добродетельная душа может построить на таком выгодном основании. Эта мысль занимала ее в то время, когда она танцевала с молодым человеком, и она невольно задумывалась, приискивая в голосе средства, как бы ей защититься от злословия добродетельных дам. Баронесса с досадою вспомнила, что внезапный, так близко подходивший к предмету ее размышлений, вопрос княжны Мими привел ее в смущение,

которое, верно, не укрылось от проницательных взоров лазутчицы; ей уже казалось, что при сем вопросе в голосе княжны было что-то особенное; к тому же она заметила, что княжна вслед за тем стала с жаром говорить с сидевшей возле нее старою дамою и что они обе как бы нехотя то улыбались, то пожимали плечами. Все это в одно мгновение пробежало в голове баронессы и в то же мгновение родило в ней мысль — одним разом сделать два дела, — и отвратить от себя подозрение, и снискать благоволение княжны. Баронесса стала искать глазами Границкого, но не находила его. Тому была причина, и очень важная.

На другом конце дома находилась заветная комната, неприступная для мужчин. Там огромное зеркало, ярко освещенное, отражало голубые шелковые занавески: оно было окружено всеми прихотями причудливой моды; цветы, ленты, перья, локоны, перчатки, румяны — все было разбросано по столам, как Рафаэлевые арабески; на низком диване лежали рядами бело-синеватые парижские башмаки — это воспоминание о хорошеньких ножках, — и, казалось, скучали своим одиночеством; несколько в отдалении, под легким покрывалом, перегибались через спинку кресел те таинственные выдумки образованности, которых благоразумная женщина не открывает и тому, кто имеет право на ее полную откровенность: эти эластические корсеты, эти шнуры, эти подвязки, эти непонятные накрахмаленные платки, вздернутые на шнурок, или перевязанные посередине, и проч., и проч. Один мосье Рави с великолепным, будто из фарфора вылитым хохлом на голове, в белом фартуке, с щипцами в руках, имел право находиться в этом [гинекее](#) во время бала; на мосье Рави не действовал магнетический воздух женской уборной, от которого у другого дрожь пробегает по телу; он не обращал внимания на эти роскошные оттиски, остающиеся в женской одежде, которую так хорошо понимали древние ваятели, взмачивая покрывало на Афродите; как начальник султанского гарема, он хладнокровно дремал посреди всего его окружающего, не думая ни о значении своего имени, ни о том, что внушила подобная комната его пламенному единоплеменнику.

Перед концом мазурки одна молодая дама, сказав два слова своему кавалеру, незаметно от других порхнула в эту комнату, показала господину Рави свой развившийся локон, г. Рави вышел за другими щипцами, в одно мгновение молодая дама оторвала от булавок лоскут бумажки, быстро выдернула тонкий карандаш из сувенира, оперлась на диван своею маленькою ножкою, написала несколько слов на колене, сжала записку в неприметный комок, и, когда г. Рави возвратился, жаловалась на его медленность.

После окончания танца, когда в воздухе носится несколько недоговоренных слов, танцовщики в хлопотах бегут из угла в угол за дамами, дамы лениво просматривают нумера своих контрадансов, и даже неподвижные фигуры, окружающие танцующих, переменяют место, чтобы подать какой-нибудь признак жизни, — в эту минуту беспорядка та же дама проходила мимо Границкого: дымчатый шарф слетел с распаленных плеч ее, Границкий поднял его, дама наклонилась, их руки встретились, и свернутая бумажка осталась в руке молодого человека. Границкий не изменился в лице, остался несколько времени на том же месте, тщательно поправил на руке перчатку и потом, жалуясь на духоту и усталость, пошел тихими шагами в отдаленную комнату, где несколько игроков в сладком уединении сидели за карточным столом. К счастью, один из них объявил Границкому, что его пари проиграно. Границкий отошел в сторону, вынул портфель и, как бы отыскивая в нем деньги, прочитал следующие слова, наскоро написанные знакомою рукою:

«Я не успела вас предупредить. Не танцуйте со мною более одного раза. Мне кажется, что муж мой начинает замечать...»

Остального нельзя было разобрать.

По праву нескромности, присвоенной рассказчикам, мы объявим, кем была написана эта записка. Границкий знал ее сочинительницу еще девушкой; она была первою его страстью; тогда еще они поклялись друг другу в вечной любви, хотя разные семейственные расчеты противились их соединению, — это было во Флоренции. Вскоре они расстались; Границкий отправился в Рим; его Лидию мать увезла в Петербург и, волею или неволею, выдала замуж за графа Рифейского. Как бы то ни было, встретившись снова, старые любовники вспомнили прежнюю свою клятву: вспыхнул огонь из-под пепла; они решались возратить потерянное время и, в отмщение свету за его своеволие, торжественно его обманывать.

Границкий привез к графу целый короб рекомендательных писем, подарков, посылок, и проч.; успел в самом Петербурге оказать ему какую-то услугу и наконец сделался в его доме почти домашним человеком.

Покорный своей владычице, он, возвратись в залу, стал осматривать, не попадутся ли ему знакомые дамы, которые помогли бы ему добить сегодняшний вечер. В эту минуту баронесса подошла к нему и спросила, не хочет ли он познакомиться с танцовщицею. Границкий принял ее предложение с величайшею радостью; она подвела его к княжне Мими.

Но баронесса ошиблась в своем расчете: княжна вспыхнула, отозвалась нездоровою, объявила, что она не намерена танцевать, и когда смущенная баронесса удалась, сказала сидевшей возле нее старой даме:

— С чего она взяла навязывать мне своих друзей? Ей хочется мною прикрыть свои хитрости. Она думала, что трудно догадаться...

Целый мир злости был в этих немногих словах. Как хотелось княжне, чтобы кто-нибудь подошел пригласить ее на танцы! С какою бы радостью она показала баронессе, что не хочет танцевать только с ее Границким! Но княжне, к несчастью, не удалось это: и целый бал она, по обыкновению, не сошла с своего стула и возвратилась домой с планами жесточайшего мщения.

Не подумайте, однако ж, любезные читатели и читательницы! чтобы злоба княжны на баронессу была произведена лишь минутного досадою. Нет! Княжна Мими была девушка очень благоразумная и издавна приучила себя без причины не увлекаться сердечным движением. Нет! давно, давно уже Элиза нанесла тяжкую обиду княжне Мими: в последнем периоде ее странствования по балам первый муж Элизы казался будто полуженихом княжны, то есть не имел к ней такого отвращения, как другие мужчины; княжна была уверена, что если б не Элиза, то она бы теперь имела наслаждение быть замужем, или по крайней мере вдовою, — что не менее производит удовольствия. И все понапрасну! Явилась баронесса, отбила обожателя, вышла за него замуж, уморила его, вышла за другого, — и все еще всем нравится, заставляет в себя влюбляться, умеет не сходить с доски, а княжна Мими все в девках да в девках, — а время все бежит да бежит! Часто за туалетом княжна с тайным отчаянием смотрела на свои перезревшие прелести: она сравнивала свой высокий стан, свои широкие плечи, свой мужественный вид с маленьким измятым личиком баронессы. О, если б кто мог подсмотреть, что тогда делалось в сердце княжны! что мерещилось ее воображению! как было оно изобретательно в ту минуту! какою бы прекрасною моделью она могла служить живописцу, который бы хотел изобразить дикую островитянку, терзающую попавшегося на ее долю пленника! И все это надобно было сжимать под узким корсетом, под условными фразами, под вежливою наружностью!.. Пламень целого ада выпускать тоненькою неприметною ниточкой!.. О, это ужасно, ужасно!

В эти минуты грусти, скорби, зависти, досады к княжне являлась утешительница.

То была горничная княжны. Сестра этой горничной нанималась у баронессы. Часто сестрицы сходились вместе и, побранив порядком своих барынь, каждая

свою, — принимались рассказывать друг другу домашние происшествия; потом, возвратившись домой, передавали своим господам все собранные ими известия. Баронесса помирала со смеху, слушая подробности туалета Мими: как страдала она, затягивая свою широкую талию, как белила посиневшие от натуги свои шершавые руки, как дополняла разными способами несколько скосившийся правый бок свой, как на ночь привязывала к багровым щекам своим — ужас! — сырые котлеты! как выдерживала из бровей лишние волосы, подкрашивала седые, и проч.

Известия, получаемые княжною, были гораздо важнее; в этом была виновата сама баронесса: об ней почти нечего было рассказывать, и Маша — так называлась служанка княжны — невольно должна была прибегать к изобретениям. Справедливо старинное, опытом доказанное сказание, что человек всегда сам подает повод к своим несчастиям!

Когда княжна возвратилась с бала, — хотя в это время она и всегда бывала не в духе, но сегодня Маша заметила, что с ее госпожою произошло что-то особенное: ей показалось, будто уже шевелятся башмаки, банки с помадою, стклянки и прочие вещи, которые в таких обстоятельствах княжна имела обыкновение отправлять — отправлять — как бы сказать это повежливее? — отправлять параллельно полу и перпендикулярно к той линии, которая оканчивалась лицом горничной. Кажется, довольно не ясно?.. Бедная девушка, чтоб отвратить грозную тучу, не преминула прибегнуть к единственной своей защите.

— А я-с сегодня была у сестрицы! — сказала она. — Уж что там делается, ваше сиятельство!

Маша не обманулась. В одно мгновение лицо княжны прояснилось; она вся обратилась во внимание, и уже давно начался городской шум, а Маша еще толковала с княжною о том, как барон часто выезжает со двора, как в это время *новоприезжий* сидит с баронессою, как они уговариваются ехать вместе в театр, быть вместе на бале, и проч., и проч.

Долго не могла заснуть княжна и, заснувши, беспрестанно просыпалась от различных сновидений: то ей кажется, что она выходит замуж, стоит уже перед налоем, все ее поздравляют, — вдруг явится баронесса и утащит жениха ее; то княжна рассматривает свое венчалное платье, примеривает его, любит, — явится баронесса и раздерет платье на мелкие части; то княжна ложится в постель, хочет обнять своего мужа, — а в постели баронесса лежит и хохочет; то княжна танцует на бале, все восхищаются ее красотою, говорят, что она танцует с женихом своим, — а баронесса подставит ногу, и княжна падает на пол. Но были и сны утешительные: то баронесса представляется ей в виде горничной, — княжна бранит ее, бьет ее башмаками и обрывает ей кругом волосы; то в виде большого черного пуделя, — княжна приказывает его выгнать и с удовольствием смотрит в окошко, как лакеи камнями бросают в ее неприятельницу, то в виде канвы, — княжна колет ее большою острою иглой и прошивает красными нитками.

И не вините ее в том, но вините, плачьте, проклиняйте развращенные нравы нашего общества. Что же делать, если для девушки в обществе единственная цель в жизни — выйти замуж! если ей с колыбели слышались эти слова — «когда ты будешь замужем!» Ее учат танцевать, рисовать, музыке для того, чтоб она могла выйти замуж; ее одевают вывозят в свет, ее заставляют молиться Господу Богу, чтоб только скорее выйти замуж. Это предел и начало ее жизни. Это самая жизнь ее. Что же мудреного, если для нее всякая женщина делается личным врагом, а первым качеством в мужчине — *удобоженность*. Плачьте и проклиняйте, — но не бедную девушку.

II

Круглый стол

On cause, on rit, on est heureux.
*Romans français*¹.

Под покровом тишины и спокойствия,
в кругу своего семейства...
Русские романы.

На другой день, после обеда, княжна Мими, младшая сестра ее Мария, молодая вдова, старая княгиня — мать обеих, да еще человека два домашних сидели, по обыкновению, за круглым столом в гостиной и, в ожидании партнеров для виста, прилежно занимались канвою.

Княгиня была очень старая и почтенная женщина; во всей ее долгой, долгой жизни нельзя было найти ни одного поступка, ни одного слова, ни одного чувства, которое бы не было строго сообразовано с принятыми приличиями; она говорила по-французски очень чисто и без ошибок; сохраняла в полной мере суровость и неприступность, приличную женщине хорошего тона; не любила отвлеченных рассуждений, но целые сутки могла поддерживать разговор о том о сем; никогда не брала на себя неприятной обязанности вступаться за человека не в ладу с общим мнением; вы могли быть уверены, что в ее доме не встретитесь с человеком, на которого дурно смотрят или которого вы не встречали в обществе. Сверх того, княгиня была женщина ума необыкновенного: она была очень небогата и не могла давать ни обедов, ни балов; но, несмотря на то, умела так искусно нырять между интригами, так искусно оцеплять людей посредством своих племянников, племянниц, внуков и внучек, так искусно попросить об одном, побранить другого, что приобрела всеобщее уважение и, как говорится, поставила себя на хорошую ногу.

Сверх того, она была женщина очень благотворительная: несмотря на недостаточное состояние, ее гостиная была всякий день освещена, и чиновники иностранных посольств могли быть уверены, что всегда найдут у ней камин или карточный стол, за которым можно провести время между обедом и балом; в ее доме часто разыгрывались лотереи для бедных; она всегда была завалена концертными билетами дочерних учителей; она покровительствовала кому бы то ни было, когда кто ей был рекомендован порядочным человеком. Словом, княгиня была добрая, благоразумная и благотворительная дама во всех отношениях.

Все это, как мы сказали, давало ей право на всеобщее уважение: княгиня знала себе цену и любила пользоваться своим правом. Но только с некоторого времени княгине все стало как-то скучно и досадно; вист и люди, люди и вист еще как-то оживляли ее, но до начала партии она не могла (разумеется, в семейном кругу) скрывать своей невольной тоски, и внезапно наружу являлись какая-то жесткость сердца, какая-то маленькая ненависть ко всему окружающему, какое-то отсутствие всякого радушия, какое-то отвращение ко всякой услуге, даже какое-то отвращение к жизни. Как не пожаловаться на судьбу? За что такая несправедливость? Зачем так худо награждена была эта почтенная дама? Ибо, уверяю вас, этот маленький байронизм княгини происходил не от воспоминания о каких-нибудь прежних тайных прегрешениях, не от раскаяния, — о нет, не от раскаяния! Я уже сказал вам, что в продолжение всей своей

¹ Беседуют, смеются, счастливые. *Французские романы (франц.)*.

жизни княгиня не позволяла себе никогда делать что-нибудь такое, чего бы не делали другие: она была невинна, как голубица; она смело могла смотреть на происшествия своей прежней жизни — чистые как стекло, ни единого пятнышка. Словом, я никак не могу вам объяснить, отчего происходила тоска княгини. Пусть эту загадку решат те почтенные дамы, которые будут или не будут читать меня, и пусть растолкуют ее своим внукам, надежде нового поколения.

Итак, княгиня, среди своего семейства, сидела за круглым столом. О круглый семейный стол! свидетель домашних тайн! чего тебе не вверяли? чего ты не знаешь? Если б к твоим четырем ногам прибавить голову, ты бы сравнялся даже с нашими [глубокомысленными описателями нравов](#), которые столь верно и резко нападают на недоступное им общество и которым я столь тщетно подражать стараюсь. За круглым столом обыкновенно начинается маленькая откровенность; чувство досады, сжатое в другое время, начинает мало-помалу разворачиваться; из-под канвы выскакивает эгоизм в полном, роскошном цвете; тут приходят на мысль счета управителя и расстройство имения; тут откровенно обнаруживается непреодолимое желание выйти или выдать замуж; тут вспоминаются какая-нибудь неудача, какая-нибудь минута уничтожения; тут жалуются и на самых близких друзей и на людей, которым, кажется, вы преданы всею душою; тут дочери ропщут, мать сердится, сестры упрекают друг друга; словом, тут делаются явными все те маленькие тайны, которые тщательно скрываются от взоров света. Послышится звонок, и все исчезло! Эгоизм спрячется за дымчатое [канву](#), на лице явится улыбка, и входящий в комнату холостяк с умилением смотрит на дружеский кружок милого семейства.

— Я не знаю, — говорила старая княгиня княжне Мими, — зачем вы ездите на балы, когда всякой раз жалуетесь, что вам было скучно... что вы не танцуете... Выезды стоят денег, и все понапрасну! Только что я остаюсь одна дома, даже без партии... Вот как вчера! Право, пора этому всему кончиться: ведь тебе уже гораздо за тридцать, Мими, — выходи, Бога ради, замуж поскорее; по крайней мере я тогда буду спокойнее. Я, право, не в состоянии одевать тебя...

— Я думаю, — сказала молодая вдова, — что ты, Мими, сама виновата во многом. Зачем эта беспрестанная презрительная мина на лице твоём? Когда к тебе подойдет кто-нибудь, то по лицу твоему можно подумать, что тебя лично обидели. Ты, право, страшна на бале... ты отталкиваешь всякого от себя.

Княжна Мими. Неужели ж мне вешаться на шею всякому встречному, как твоя баронесса? Жеманиться, показывать всякому мальчику мою благодарность за то, что он мне сделает честь провести меня в контрадансе?

Мария. Не говори мне о баронессе! Твой вчерашний с ней поступок на бале таков, что я не знаю, как назвать его. Это была беспримерная неучтивость. Баронесса хотела тебе сделать удовольствие, подвела к тебе кавалера...

Мими. Подвела ко мне для того, чтобы мною прикрыть свои любовные хитрости. Вот прекрасное одолжение!

Мария. Ты любишь все толковать в дурную сторону. Где ты заметила эти любовные хитрости?

Мими. Одна ты ничего не видишь и не слышишь! Ты, разумеется, как женщина замужняя, можешь презирать светское мнение, — но я... я слишком дорожу собою. Я не хочу, чтоб обо мне стали то же говорить, что о твоей баронессе.

Мария. Не знаю! Но что до сих пор ни говорили о баронессе, все вышло неправда...

Мими. Конечно, все ошибаются! одна ты права!.. Я не могу надивиться, как ты можешь за нее вступаться. Ее репутация сделана.

Мария. О, я знаю! Баронесса имеет много врагов, — и на это есть причины: она прекрасна собою; муж ее урод; ее любезность привлекает к ней толпу мужчин.

Мими вспыхнула, а старая княгиня прервала Марию:

— Уж правду сказать, я совсем не рада вашему знакомству с баронессою; она совсем не умеет вести себя. Что это за беспрестанные кавалькады, пикники? Нет бала, на котором бы она не вертелась; нет мужчины, с которым бы она не была как с братом. Я не знаю, как все это называется у вас, в нынешнем веке, но в наше время такое поведение называлось неблагопристойным.

— Да дело идет не о баронессе! — возразила Мария, хотевшая отклонить разговор о своей приятельнице. — Я говорю о тебе, Мими: ты меня истинно приводишь в отчаяние. Ты говоришь об общем мнении! Не думаешь ли ты, что оно в твою пользу? О, ты весьма ошибаешься! Ты думаешь, приятно мне видеть, что твоего языка боятся как огня, перестают говорить, когда ты подойдешь к какому-нибудь кружку? Мне, мне, сестре твоей, говорят в глаза о твоих сплетнях, о твоей злости; ты мужу намекаешь о тайнах его жены; жене рассказываешь о муже; молодые люди просто ненавидят тебя. Нет их шалости, которой бы ты не знала, о которой бы ты не судила и не рядила. Уверю тебя, что с твоим характером ты ввек не выйдешь замуж.

— О, я об этом очень мало забочусь! — отвечала Мими. — Лучше целый век оставаться в девках, чем выйти замуж за какого-нибудь больного калеку и до смерти затаскать его на балах.

Мария вспыхнула в свою очередь и готовилась отвечать, но ударил звонок, дверь отворилась, и вошел граф Сквирский, старинный приятель, или, что все равно, старинный партнер княгини. То был один из тех счастливых, которым нельзя не завидовать. Целый век и целый день он был занят: поутру надобно поздравить того-то с именинами, купить узор для княжны Зизи, сыскать собаку для княжны Биби, завернуть в министерство за новостями, поспеть на крестины или на похороны, потом на обед и проч., и проч. В продолжение пятидесяти лет граф Сквирский все собирался сделать что-нибудь дельное, но отлагал день за днем и, за ежедневными хлопотами, не успел даже жениться. Ему вчера и тридцать лет назад было одно и то же: переменялись моды и мебели, но гостиные и карты все были те же — сегодня как вчера, завтра как сегодня, — он уже третьему поколению показывал свою неизменную спокойную улыбку.

— Сердце радуется, — говорил Сквирский княгине, — когда войдешь к вам в комнату и посмотришь на ваш милый семейный кружок. Нынче уже мало таких согласных семейств! Все вы вместе, всегда так веселы, так довольны, — и вздохнешь невольно, как вспомнишь о своем холостом угле. Честью могу вас уверить, — пусть другие говорят что хотят, — но что до меня касается, я так думаю, холостая жизнь...

Философические рассуждения Сквирского были прерваны поданною ему карточкою.

Между тем скоро гостиная княгини наполнилась: тут были и супруги, для которых собственный дом есть род калмыцкой кибитки, годной лишь для ночлега; и те любезные молодые люди, которые приезжают к вам в дом затем, чтоб было что сказать в другом; и те, которых судьба, наперекор природе, втянула в маховое колесо гостиных; и те, для которых самый простой визит есть следствие глубоких расчетов и пособие для годовой интриги. Тут были и те лица, которым сам Грибоедов не мог приискать другого характеристического имени, как **г-н N и г-н D**.

— Вы долго вчера оставались на бале? — спросила княжна Мими у одного молодого человека.

— Мы еще танцевали после ужина.

— Скажите ж, чем кончилась комедия?

— Княжне Биби наконец удалось прикрепить свою гребенку...

— Ох! не то...

— А, понимаю!.. Длинная фигура в черном фраке наконец решилась разговаривать: он задел шляпою графиню Рифейскую и сказал: «Извините!»

— О! все не то... Вы, стало быть, ничего не заметили?

— А, вы говорите про баронессу?..

— О нет! Я и не думала об ней... Да почему вы об ней заговорили? Разве о чем-нибудь говорят?

— Нет! Я ничего не слышал. Мне хотелось только отгадать, что вы хотели сказать своим вопросом.

— Я ничего не хотела сказать.

— Но о какой же комедии?

— Я так говорила вообще о вчерашнем бале.

— Нет, воля ваша, тут что-нибудь да есть! Вы сказали таким тоном...

— Вот свет! Вы уж выводите заключения! Я вас уверяю, что ни о ком особенно не думала. Кстати о баронессе: она еще много после меня танцевала?

— Не сходила с доски.

— Она совсем не бережет себя. С ее здоровьем...

— О! княжна, вы совсем не об ее здоровье говорите. Теперь все понимаю. Этот гвардейский полковник?.. Не так ли?

— Нет! Я его не заметила.

— Так позвольте ж? Надобно вспомнить всех, с кем она танцевала...

— Ах, Бога ради, перестаньте! Я вам говорю, что я об ней и не думала. Я так боюсь всех этих пересудов, сплетней... В свете люди так злы...

— Позвольте, позвольте! Князь Петр... Бобо... Лейденминц, Границкий?..

— Кто это? Это новое лицо, высокий с черными бакенбардами?..

— Так точно.

— Он, кажется, приятель баронессина деверя?

— Так точно.

— Так его зовут Границким?

— Скажите, пожалуйста, — сказала одна сидевшая за картами дама, вслушиваясь в слова Мими, — что такое этот Границкий?

— Его баронесса всюду развозит, — отвечала соседка княжны на бале.

— И сегодня, — заметила третья дама, — она показывала его в своей ложе.

— Это только баронессе может прийти в голову, — сказала соседка княжны. — Бог знает что он такое! Какой-то выходец с того света...

— То уж правда, что он Бог знает что такое! Он какой-то этакой якобинец не якобинец, *un frondeur*¹, не умеет жить. И какие глупости он говорит! Намедни я стала уговаривать графа Бориса взять билет к нашему Целини, а этот — как его, Границкий, что ли, — примялся возле меня рассказывать о какой-то Страховой конторе, которую здесь заводят против концертных билетов...

— Он не хороший человек, — заметили многие.

— Не слышит этого баронесса! — сказала Мими.

— Ну, теперь понимаю! — прервал ее молодой человек.

— О нет! Ей Богу, я только хотела сказать, как бы ей этот разговор был неприятен; он друг их дома... И для всякого...

— Позвольте мне еще раз перервать ваши слова, потому что я расскажу именно то, что вам хотелось знать. Баронесса после ужина не переставала танцевать с Границким. О, теперь я все понимаю! Он не отходил от нее: то она на стуле оставит шарф, он принесет его; то ей жарко, он носит с стаканом...

— Как вы злы! Я ни об чем об этом вас не спрашивала. Что тут мудреного, что он за ней ухаживает! Он ей почти родной, живет у них в доме...

¹ недовольный (франц.).

— А! живет у них в доме! Какая самоуверенность в этом бароне!.. Не правда ли?

— О, Бога ради, перестаньте! Вы заставляете меня говорить то, чего у меня в голове нет: с вами тотчас попадешь в кумушки, — а я, я так всего этого боюсь!... избавь меня Бог за кем-нибудь замечать!.. А особливо баронесса, которую я так люблю...

— Да! Она достойна любви и... сожаления.

— Сожаления?

— Без сомнения! Согласитесь, что барон и баронесса *вместе* составляют что-то странное.

— Да! это правда!.. Муж баронессы совсем не занимается ею: она, бедная, дома, всегда одна...

— Не одна! — возразил молодой человек, улыбаясь своему остроумию.

— О, вы все толкуете по-своему! Баронесса очень нравственная женщина...

— О, будемте справедливы! — заметила соседка княжны. — Не надобно никого осуждать; но я не знаю, какие правила у баронессы. Не знаю, как-то зашла речь об «Антони», об этой ужасной, безнравственной пьесе; я не могла досидеть до конца, а она вздумала вступаться за эту пьесу и уверять, что только такая пьеса может остановить женщину на краю гибели...

— О! признаюсь вам, — заметила княгиня, — все, что говорится, делается и пишется в нынешнем веке... Я ровно ничего не понимаю!

— Да! — отвечал Сквирский. — Я скажу, что до меня касается, я так думаю, нравственность необходима; но и просвещение также...

— Ну уж и вы, граф, туда же! — возразила княгиня. — Нынче все твердят — просвещение, просвещение! — куда ни оглянись, всюду просвещение, — и купцов просвещают, и крестьян просвещают, — в старину не было этого, а все шло лучше нынешнего. Я сужу по-старинному: говорят — просвещение, а поглядишь — развращение!

— Нет, позвольте, княгиня! — отвечал Сквирский. — Я с вами не согласен. Просвещение необходимо, и это я докажу вам как дважды два — четыре. Ведь что такое просвещение? Вот, например, мой племянник: он вышел из университета, знает все науки: и математику, и по-латыни — имеет аттестат, и вот ему всюду открыта дорога, — и в коллежские асессоры, и в действительные. Ведь, позвольте сказать: просвещение просвещению рознь. Вот, например, свеча: она светит, нам бы нельзя было без нее в вист играть; но я взял свечу и поднес к занавеске, — занавеска загорится...

— Позвольте записать! — сказал один из играющих.

— То, что я говорю? — спросил Сквирский, улыбаясь.

— Нет, Роберт!

— Вы сделали ренонс, граф! Как это можно? — сказал с досадою партнер Сквирского.

— Как?.. я?.. ренонс? Ах Боже мой!.. В самом деле? Вот вам и просвещение!.. Ренонс! Ах, Боже мой, ренонс! Да, точно ренонс!

Тут уж ничего нельзя было расслушать: все заговорили о несчастьи Сквирского, и все рассуждения, все интересы, все чувства сосредоточились в этом предмете. Пользуясь общим движением, двое гостей неприметно вышли из комнаты: один из них, казалось, только что приехал определиться, другой возил его знакомить по гостиным. На лице одного видны были досада и насмешка; другой спокойно и внимательно всматривался в ступеньки лестницы, по которой они сходили.

— Мне на роду написано встречаться с этим бездельником! — сказал первый. — Этот Сквирский, старый знакомец, — я его знал в Казани, — чего он там не чудесил! А здесь еще он ораторствует! И о чем же? О нравственности. И что всего замечательнее, он убежден в том, что говорит: напхни ему, что он вконец разорил своих племянников, бывших у него под опекою, он будет в состоянии спросить: какое это имеет

отношение к нравственности? Скажи, пожалуй, как вам возможно такого безнравственного человека принимать в общество?

Товарищ пожал плечами.

— Что ж мне делать с тобою, мой любезный! — отвечал он, садясь в карету, — если ты не знаешь нашего языка; учись, учись, мой милый: это необходимо, — мы здесь перемешали значение всех слов, и до такой степени, что если ты назовешь безнравственным человека, который обыгрывает в карты, клеветает на ближнего, владеет чужим именем, тебя не поймут, и твое прилагательное покажется странным; но если ты дашь волю уму и сердцу, протянешь руку к какой-нибудь жертве светских предрассудков или попробуешь только запереть твою дверь от встречного и поперечного, тебя тотчас назовут безнравственным человеком, и это слово будет для всех понятно.

После некоторого молчания первый продолжал:

— Знаете ли, что мне гораздо сноснее ваши блестящие, большие рауты! Тут по крайней мере говорят мало, у всех чинный вид, — точно люди: но избави Бог от их семейных кружков! Минуты их домашней откровенности ужасны, отвратительны, — отвратительны даже до любопытства. Княгиня — судья литературы! Граф Сквирский — защитник просвещения! Право, после этого захочется быть невеждою.

— Однако ж в словах княгини было нечто справедливое! Согласись сам, — что такое в нынешней литературе? Беспрестанные описания пыток, злодеяний, разврата; беспрестанные преступления и преступления...

— Извини! — отвечал его товарищ, — но так говорят те, которые ничего не читали, кроме произведений нынешней литературы. Ты, конечно, уверен, что она портит общественную нравственность, не правда ли? Было бы что портить, мой любезный! С середины XVIII века все так исправно испортилось, что уже нашему веку ничего портить не осталось. И одну ли нынешнюю литературу можно попрекнуть этим грехом? На одно действительно безнравственное нынешнее произведение я тебе укажу десять XVIII, XVII и даже XVI века. Теперь нагота больше в словах, тогда она была в самом деле, в самом вымысле. Прочти хоть Брантома, прочти даже «Поездку на остров любви», Тредьяковского: я не знаю на русском языке безнравственнее этой книги; это ручная книга для самой бесстыдной кокетки. Нынче не напишут такой книги в пользу чувственных наслаждений; нынче автор, вопреки древнему правилу — «si vis me flere...»¹ — кощунствует, смеется для того, чтоб заставить плакать читателя. Вся нынешняя литературная нагота есть последний отблеск прошедшей действительной жизни, невольная исповедь в старых прегрешениях человечества, хвост старинной беззаконной кометы, по которому, — знаешь ли что? — по которому можно судить, что сама комета удаляется с горизонта, ибо кто пишет, тот уже не чувствует. Наконец, нынешняя литература, по моему мнению, есть казнь, ниспосланная на ледяное общество нашего века: нет ему, лицемеру, и тихих наслаждений поэзии! оно недостойно их!.. И может быть, это казнь благотворная: неисповедимы определения ума человеческого! Может быть, нужно нашему веку это сильное средство; может быть, оно, непрерывно потрясая его нервы, пробудит его заснувшую совесть, как телесное страдание пробуждает утопленника. С тех пор как я в вашем свете, я понимаю нынешнюю литературу. Скажи мне, чем другим, какою поэзиею она заинтересует такое существо, какова княжна Мими? какою искусною катастрофою ты тронешь ее сердце? какое чувство может быть понятно ей, кроме отвращения, — да, отвращения! Это, может быть, единственный путь к ее сердцу. О, эта женщина навела на меня ужас! Смотри на нее, я рядил ее в разные платья, то есть логически развивал ее мысли и чувства, представлял себе, чем бы могла быть такая душа в разных обстоятельствах жизни, и прямехонько дошел... до костров инквизиции! Не смейся надо мною: Лафатер гова-

¹ если хочешь меня заставить плакать... (франц.)

ривал — дайте мне одну линию на лице, и я вам расскажу всего человека. Найди мне только степень, до которой человек любит сплетни, любит выведывать и рассказывать домашние тайны, и все под личиною добродетели, — и я тебе с математическою точностью определяю, до какой степени простирается в нем безнравственность, пустота души, отсутствие всякой мысли, всякого религиозного, всякого благородного чувства. В моих словах нет преувеличения: я сошлюсь хотя на отцов церкви. Они глубоко знали сердце человеческое. Послушай, с каким горьким сожалением они вспоминают о таких людях: «Горе будет им в день судный, — говорят они, — лучше бы им не знать святыни, нежели посреди ее поставить престол диаволу».

— Помилуй, братец! Да что с тобою? Это уж, кажется, проповедь.

— Ах, извини! Все, что я видел и слышал, так гадко, что надобно же мне было отвести душу. Впрочем, скажи, — разве ты не слышал разговора княжны Мими с этим прокатным танцовщиком?

— Нет. Я не обратил внимания.

— Ты? литератор?.. Да в этом милом светском разговоре зародыш тысячи преступлений, тысячи бедствий!

— Э, братец! Мне в это время рассказывали историю поинтереснее, — как сделал карьеру один из моих сослуживцев...

Карета остановилась.

III

Следствия домашних разговоров

Я говорю, ты говоришь,
он говорит, мы говорим,
вы говорите, они или оне говорят.
Труды...?!

К счастью, немногие разделяли грозное мнение незнакомого оратора о нынешнем обществе, и потому все его маленькие дела шли своим чередом без всякого помешательства. А между тем, незаметно ни для кого, двигался этот род предрассудка, который называют временем.

Графиня Рифейская, издавна дружная с баронессою, старалась еще больше с нею сблизиться с тех пор, как приехал Границкий: их видали вместе и на прогулке и в театре; баронесса не знала ничего о старинном знакомстве Границкого с графинею; правда, она замечала, что они были равнодушны друг к другу, но почитала это обыкновенным, минутным волокитством, которое иногда предпринимают люди от нечего делать, в свободное от других занятий время. Сказать ли? Баронесса незаметно для нее самой даже радовалась своему открытию: оно ей показалось верною защитою против нападения своей неприятельницы.

Но Границкий и графиня вели свои дела с особенным искусством, приобретаемым долгою опытностью: в обществе они умели быть совершенно равнодушными; говоря с другими о предметах совершенно посторонних, они умели или назначить друг другу место свидания или передать какие-либо меры предосторожности; они даже умели кстати смеяться друг над другом. Пламенные их взоры встречались лишь в зеркале; но ни одна минута не была ими потеряна: они ловили тот миг, когда глаза других были отвлечены каким-нибудь предметом. При мгновенном выходе из комнаты, из театра — словом, при каком бы то ни было удобном случае их руки сливались

вместе, и часто за долгое принуждение их награждал поцелуй любви, распаленный насмешкою над общим мнением.

Между тем семена, брошенные искусною рукою княжны Мими, росли и множились, как те чудные деревья девственного бразильского леса, которые раскинут свои ветви, и каждая ветвь опустится к земле, и станет новым деревом, и снова вопьется в землю ветвями, и еще, еще... И горе неосторожному путнику, попавшемуся в эти бесчисленные сплетения! Молодой болтун рассказал разговор с княжною Мими другому; этот своей маменьке; маменька своей приятельнице, и так далее. Такую же галерею устроила вокруг себя и Мими; такую же и княгиня; такую же и старая соседка княжны на бале. Все эти галереи росли, росли; наконец встретились, переплелись, укрепили друг друга, и частая сеть охватила баронессу с Границким, как Марса с Венерою. По этому случаю все языки, которые только могли шевелиться в городе, зашевелились, — одни по желанию убедить слушателей, что они непричастны подобным грехам, — другие по ненависти к баронессе, третьи, чтоб посмеяться над ее мужем, иные просто по желанию показать, что им также известны гостинные тайны.

Границкий, занятый своими стратегическими движениями с графинею, баронесса, успокоенная своим открытием, не знали бури, которая была готова над ними разразиться: они не знали, что каждое их слово, каждое их движение были замечены, обсуждены, растолкованы; они не знали, что беспрестанно находились перед глазами судилища, составленного из чепчиков всех возможных фасонов. Когда баронесса за просто, дружески обращалась с Границким, тогда судилище решало, что она играет роль невинности. Когда она, по какому-нибудь стечению обстоятельств, в продолжение целого вечера ни слова не говорила с Границким, тогда судилище находило, что это сделано для того, чтоб отвлечь общее внимание. Когда Границкий говорил с бароном, это значило, что он желает усыпить подозрение бедного мужа. Когда молчал, это значило, что любовник не в силах преодолеть своей ревности. Словом, что бы ни делали баронесса и Границкий: садился он или не садился подле нее за столом, танцевал или не танцевал с нею, — встречался или не встречался на прогулке, была ли баронесса при людях любезна или нелюбезна с своим мужем, выезжала с ним или не выезжала, — все для досужего судилища служило подтверждением его заключений.

А бедный барон! Если бы он знал, какое нежное участие принимали в нем дамы, если бы он знал все добродетели, открытые ими в его особе! Его всегдашняя сонливость была названа внутренним страданием страстного мужа; его глупая улыбка знаком непритворного добродушия; в его заспанных глазах они нашли глубокомыслие; в его страсти к висту — желание не видеть жениной неверности или сохранить наружное приличие.

Однажды в доме общей знакомой баронесса Дауерталь встретилась с княжною Мими. Они, разумеется, очень обрадовались, дружески пожали друг другу руки, сделали друг другу бесчисленное множество вопросов и с обеих сторон оставили их почти без ответа; словом, ни тени вражды, ни тени воспоминания о приключении на бале, — как будто бы целый век они не переставали быть истинными приятельницами. В гостиной, кроме их, было мало гостей, — только старая княжна, молодая вдова — сестра Мими, старая и всегдашняя ее соседка на балах, Границкий и еще человека два, три.

Границкий целый день протаскался по разным гостинным, чтоб увидеться с своею графинею, и, нигде не нашедши ее, был скучен и рассеян. Баронессе было очень неприятно встретиться с княжною Мими, а старой княгине с баронессою. Одна Мими была очень рада удобному случаю делать наблюдения над баронессою и Границкий в маленьком обществе. От всего этого произошла в гостиной несносная принужденность: разговор беспрестанно переходил от предмета к предмету и беспрестанно прерывался. Хозяйка поднимала из-под спуда старые новости, потому что о новых все воз-

можное было сказано, и все смотрели на нее видимо не слушая. Мими торжествовала: говоря с другими, она не пропускала ни одного слова ни баронессы, ни Границкого и в каждом слове находила ключи для иероглифического языка, обыкновенно употребляемого в таких случаях. Приметную рассеянность Границкого она переводила то маленькою ссорой между любовниками, то возбужденным подозрением мужа. А баронесса! Ни одно ее движение не ускользало от внимательного наблюдения Мими и каждое ей рассказывало целую историю со всеми подробностями. Между тем бедная баронесса, как будто виноватая, отворачивалась от Границкого: то почти не отвечала на его слова, то вдруг обращалась к нему с вопросами; не могла удерживаться, чтоб иногда не взглядывать на княжну Мими, и часто, когда их глаза искоса встречались, баронесса приходила в невольное смущение, которое еще более увеличивалось тем, что она сердилась на себя за свое смущение.

Спустя несколько времени Границкий посмотрел на часы, сказал, что он едет в оперу, и исчез.

— Ведь мы расстроили это свидание, — тихо сказала Мими своей неразлучной соседке. — Впрочем, они наведут!

Едва вышел Границкий, как слуга доложил баронессе, что приехала ее карета, которой она давно уже дожидалась. В ту минуту какая-то неясная мысль пробежала в голове княжны Мими: она сама не могла дать себе отчета, — это было темное, беспредметное вдохновение злости, — это было чувство человека, который ставит сто против одного, в верной надежде не выиграть.

— У меня ужасный мигрень! — сказала она. — Позвольте, баронесса, вашей карете перевезти меня домой через улицу: мы свою отпустили.

Они взглянули и поняли друг друга. Баронесса по инстинкту догадалась, что происходило в душе княжны Мими. Она также не составляла себе никакого определенного понятия о намерении последней; но сама не зная чего-то испугалась; она, разумеется, без труда согласилась на предложение Мими, но вспыхнула, и так вспыхнула, что все это заметили. Все это произошло во сто раз быстрее, нежели во сколько мы могли рассказать сцену.

На дворе была сильная метель; ветер задувал фонари, и в двух шагах нельзя было различить человека. Закутанная с ног до головы в салоp, Мими, с трепетом в сердце, всходила, поддерживаемая двумя лакеями, по ступенькам кареты. Она едва сделала два шага, как вдруг в карете большая мужская рука схватила ее руку, помогая ей войти. Мими бросилась назад, вскрикнула, — и едва ли это был не крик радости! Опрометью побежала она назад по лестнице, и вне себя, задыхаясь от различных чувств, загоревшихся в душе, бросилась к сестре Марии, которую крик ее, раздавшийся по всему дому, заставил выбежать из гостиной вместе с другими дамами.

— Ну, говорите еще! — шептала она сестре своей, но так, чтоб все могли слышать, — защищайте вашу баронессу! У ней... в карете... ее Границкий. Посоветуйте ей по крайней мере осторожнее устраивать свои свидания и не подвергать меня такому стыду...

На шум пришла баронесса. Мими замолчала и, как бы без чувств, бросилась в кресла. Пока баронесса тщетно спрашивала у княжны, что с нею случилось, — дверь отворилась и —

но позвольте, милостивые государи! Я думаю, что теперь самая приличная минута заставить вас прочесть —

Предисловие

C'est avoir l'esprit de son âge! ¹

С некоторого времени вошел в употребление и успел уже обветшать обычай писать предисловие посредине книги. Я нахожу его прекрасным, то есть очень выгодным для автора. Бывало, сочинитель становился на колени, просил, умолял читателя обратить на него внимание; а читатель гордо перевертывал несколько страниц и хладнокровно оставлял сочинителя в его унижительном положении. В нашу эпоху справедливости и расчета сочинитель в предисловии ставит читателя на колени или выбирает ту минуту, когда сам читатель становится на колени и вымаливает развязки; тогда сочинитель важно надевает докторский колпак и доказывает читателю, почему он должен стоять на коленях, — все это с невинным намерением заставить читателя прочесть предисловие. Воля ваша, а это прекрасное средство, ибо кто не читал предисловия, тот знает только половину книги. Итак, милостивые государи, становитесь на колени, читайте, и читайте с глубочайшим вниманием и с глубочайшим уважением, потому что я буду говорить вам то, что уже давно вам всем известно.

Знаете ли вы, милостивые государи читатели, что писать книги дело очень трудное?

Что из книг труднейшие для сочинителя это романы и повести.

Что из романов труднейшие те, которые должно писать на русском языке.

Что из романов на русском языке труднейшие те, в которых описываются нравы нынешнего общества.

Пропуская тысячи причин этих затруднений, я упомяну о тысяче первой.

Эта причина, — извините! — pardon! — verzeihen Sie! — scusate! — forgive me! ² — эта причина: наши дамы не говорят по-русски!!

Послушайте, милостивые государыни: я не студент, не школьник, не издатель, ни А, ни Б; я не принадлежу ни к какой литературной школе и даже не верю в существование русской словесности; я сам говорю по-русски редко; по-французски изъясняюсь почти без ошибок; картавлю самым чистым парижским наречием: словом, я человек порядочный, — я уверяю вас, что стыдно, совестно и бессовестно не говорить по-русски! Знаю я, что французский язык уже начинает выходить из употребления, но какой нечистый дух шепнул вам заменить его не русским, а проклятым английским, для которого надобно ломать язык, стискивать зубы и выставлять нижнюю челюсть вперед? А с этою необходимостью прощай, хорошенький ротик с розовыми, свежими славянскими губками! Лучше бы его не было.

Вы знаете не хуже моего, что в обществе действуют сильные страсти — страсти, от которых люди бледнеют, краснеют, желтеют, занемогают и даже умирают; но в высших слоях общественной атмосферы эти страсти выражаются одною фразою, одним словом, словом условным, которого, как азбуку, нельзя ни перевести, ни выдумать. Романист, в котором столько совести, что он не может решиться выдавать алеутский разговор за язык общества, должен знать в совершенстве эту светскую азбуку, должен ловить эти условные слова, потому что, повторяю, их выдумать невозможно: они рождаются в пылу светского разговора, и приданный им в ту минуту смысл остается при них навсегда. Но где поймать такое слово в русской гостиной? Здесь все русские страсти, мысли, насмешка, досада, малейшее движение души выражаются готовыми словами, взятыми из богатого французского запаса, которыми так искусно пользуются французские романисты и которым они (талант в сторону) обязаны большею частию своих успехов. Как

¹ Быть верным своему веку! (франц.).

² извините! (франц., нем., итал., англ.).

часто им бывают ненужны эти длинные описания, объяснения, приготовления, которые мука и сочинителю и читателю и которые они легко заменяют несколькими светскими для всех понятными фразами! Те, которые знают несколько механизм расположения романа, те поймут все выгоды, приносимые этим обстоятельством. Спросите нашего поэта ¹, одного из немногих русских писателей, в самом деле знающих русский язык, почему он, в стихах своих, употребил целиком слово *vulgar, vulgaire*? ² Это слово рисует половину характера человека, половину его участи; но, чтобы выразить его по-русски, надобно написать страницы две объяснений, — а куда как это ловко для сочинителя и как весело для читателя! Вот вам один пример, а таких можно найти тысячу. И потому я прошу моих читателей принять в уважение все эти обстоятельства и пенять не на меня, если для одних разговор моих героев покажется слишком книжным, а для других не довольно грамматическим. В последнем случае я сошлюсь на Грибоедова, едва ли не единственного, по моему мнению, писателя, который постиг тайну перевести на бумагу наш разговорный язык.

Засим я прошу извинения у моих читателей, если наскучил им, поверая их добродушному расположению эти маленькие, в полном смысле слова домашние затруднения и показывая подставки, на которых движутся романические кулисы. Я поступаю в этом случае как директор одного бедного провинциального театра. Приведенный в отчаяние нетерпением зрителей, скучавших долгим антрактом, он решился поднять занавес и показать им на деле, как трудно превращать облака в море, одеяло в царский намет, ключницу в принцессу, и арапа в *premier ingénu* ³. Благосклонные зрители нашли этот спектакль любопытнее самой пьесы. Я думаю то же.

Конечно, родятся люди с необыкновенными дарованиями, для которых все готово — и нравы, и ход романа, и язык, и характеры: надобно ли им изобразить человека высшего общества или, как они говорят, модного тона, — ничего не может быть легче! Они непременно пошлют его в чужие края; для большей верности в costume заставят его не служить, спать до двух часов пополудни, ходить по кондитерским и пить до обеда, разумеется, шампанское.

Нужно им написать разговор в порядочном обществе, — и того легче! Развернуть первый переводной роман г-жи Жанлис, прибавить в необходимых местах слова *mon cher — ma chère, — bon jour — comment vous portez-vous* ⁴ — и разговор готов! Но такую точность описания, такой верный, проницательный взгляд природа дает немногим гениям. Я был обижен ею в этом отношении и потому просто прошу читателя сердиться не на меня, если я в некоторых из моих домашних разговоров не умел вполне сохранить светского колорита; а дамам, повторяю мою убедительную просьбу, говорить по-русски.

Не говоря по-русски, они лишаются множества выгод:

I. Они не могут так хорошо понимать наших сочинений; но как с этим по большей части их можно поздравить, то мы пропустим это обстоятельство.

II. Если они, несмотря на мои увещания, все-таки не будут говорить по-русски, то я — я — вперед не напишу для них ни одной повести, пусть же читают они гг. А, Б, В и проч.

Уверенный, что эта угроза сильнее всех доказательств подействует на моих читательниц, я спокойно обращаюсь к моему рассказу.

¹ Напоминать ли, что здесь идет речь об Онегине Пушкина. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

² вульгарно (англ.).

³ первого любовника (франц.).

⁴ мой дорогой, — моя дорогая, — здравствуйте, — как вы себя чувствуете (франц.).

Итак — дверь отворилась, и... ввалился старый барон, ничего не понимавший в этом приключении. Он приезжал за женою, и как он намеревался сейчас же куда-то ехать с нею по какому-то непредвиденному обстоятельству, то рассудил остаться в карете и не говорить о себе хозяйке дома. Крик княжны Мими, которую он сначала принял было за жену, заставил его выйти.

Но таково было магнетическое действие, приготовленное и городскими слухами и всем предшедшим, что все смотрели на него и не верили глазам своим: уже спустя несколько времени, после стакана воды, после одеколону, гофманских капель и прочего тому подобного, догадались, что в таких случаях надобно смеяться. Я уверен, что многие из моих читателей замечали в разных случаях жизни действие этого магнетизма, производящего в толпе сильное убеждение почти без всякой видимой причины: подвергшись сему действию, мы потом уже тщетно хотим уничтожить его рассудком; слепое убеждение так овладевает нашею волею, что в нас самих рассудок невольно начинает отыскивать обстоятельства, которые бы могли подтвердить это убеждение. В те минуты сказанное самое нелепое слово производит сильное влияние; иногда самое это слово забывается, но произведенное им впечатление остается в душе и, незаметно для человека, порождает в нем ряд таких мыслей, которые бы не пришли в голову без этого слова и которые к нему имеют иногда самое отдаленное отношение. Этот магнетизм играет весьма важную роль как в важных, так и в самых мелочных происшествиях, и, может быть, для многих должен служить единственным объяснением. Так случилось и теперь: происшествие с княжною было очень просто и понятно, но предрасположение всех присутствующих к другого рода развязке было так сильно, что у многих в одно и то же мгновение родилась неясная мысль, как будто бы барон тут явился вроде *кума*. Каким образом могло это случиться, в ту минуту никто не был в состоянии объяснить себе; но впоследствии эта мысль развилась, укрепились, и рассудок вместе с памятью отыскивали в прошедшем множество подтверждений для того, что действительно было только одно слепое убеждение.

Если бы вы знали, какой шум поднялся в городе после этого происшествия! Во всех углах шепотом, вслух, за канвою, за книгою, в театре, перед алтарем Божиим собеседники и собеседницы говорили, толковали, объясняли, спорили, выходили из себя. Огонь небесный не произвел бы в них сильнейшего впечатления! И все оттого, что мужу вздумалось приехать за женою. Наблюдая подобные прискорбные явления, истинно приходишь в изумление. Что привлекает этих людей к делам, которые до них не касаются? Каким образом эти люди, эти люди, бездушные, ледяные, при виде самого благородного и самого подлого поступка, при виде самой высокой и самой пошлой мысли, при виде самого изящного произведения и при нарушении всех законов природы и человечества, — каким образом эти люди делаются пламенными, глупокомысленными, проницательными, красноречивыми, когда дело дойдет до креста, до чина, до свадьбы, до какой-нибудь домашней тайны или до того, что они выжали из своего сухого мозга под именем приличия?

IV

Спасительные советы

Барин. Дурак! Тебе надобно было
это сделать стороною.

Слуга. Я и так, сударь, подошел
к нему со стороны.

У старого барона был меньшой брат, гораздо моложе его годами; офицер, вообще очень милый малой.

Описать его характер довольно трудно: надобно начать издалека.

Видите ли! отцов наших добрые люди научили, что надобно во всем сомневаться, рассчитывать свой каждый поступок, избегать всяких систем, всего бесполезного, а везде искать существенной пользы или, как тогда говаривали, обирать вокруг себя и вдаль не пускаться. Отцы наши послушались, оставили в сторону все бесполезные вещи, которых я не назову, чтобы не прослыть педантом, и очень были рады, что вся мудрость человеческая ограничилась обедом, ужином и прочими тому подобными полезными предметами. Между тем у отцов наших завелись дети; дошло дело до воспитания, они благоразумно продолжали во всем сомневаться, смеяться над системами и заниматься одними полезными предметами. Между тем их дети росли, росли и наперекор добрым людям сами составили себе систему жизни, — однако систему не мечтательную, а в которой поместились эпиграмма Вольтера, анекдот, рассказанный бабушкою, стих из Парни, нравственно-арифметическая фраза **Бентама**, насмешливое воспоминание о примере для прописи, газетная статья, кровавое слово Наполеона, закон с карточной чести и прочее тому подобное, чем до сих пор пробавляются старые и молодые воспитанники XVIII столетия.

Молодой барон обладал этою системою в совершенстве: влюбиться он не мог — в этом чувстве для него было что-то смешное; он просто любил женщин, — всех, с малыми исключениями, — свою легавую собаку, лепажевы ружья и своих товарищей, когда они ему не надоедали; он верил в то что дважды два — четыре, в то, что ему скоро откроется вакансия в капитаны, в то, что завтра он должен танцевать 2, 5 и 6 номера контраданса...

Впрочем, будем справедливы: молодой человек имел благородную, пылкую и добрую душу: но чего не задавило преступное воспитание гнилого и раздушенного века! Радуйтесь, люди расчета, сомнения и существенной пользы! радуйтесь, защитники насмешливого неверия во все святое! расплылись ваши мысли, все затопили, и просвещение и невежество. Где встанет солнце, которое должно высушить это болото и обратить его в плодоносную почву?

В комнате, обвешанной парижскими литографиями и азиатскими кинжалами, на вогнутых креслах, затянутый в узком архалухе, лежал молодой барон, то поглядывая на часы, то перевертывая листки французского водевиля.

Человек подал записку.

— От кого?

— От маркизы де Креки.

— От тетушки!

Записка была следующего содержания:

«Заезжай ко мне сегодня после обеда, мой милый. Да не забудь, по обыкновению; у меня до тебя есть дело, и очень важное».

— Ну, уж верно, — проворчал про себя молодой человек, — тетушка изобрела еще какую-нибудь кухню, которую надобно выводить на паркет! Уж эти мне кухни! И откуда они берутся? Скажи тетушке, — сказал он громко, — что очень хорошо, — буду. Одеваться.

Когда молодой барон Даурталь явился к маркизе, она оставила свои большие вязальные спицы, взяла его за руку и с таинственным видом через ряд комнат, отличавшихся характеристическим безвкусием, повела к себе в кабинет и посадила на маленький диван, окруженный горшками с геранием, бальзамино, мятой и фамильными портретами. Воздух был напоит одеколоном и спермацетом.

— Скажите, тетушка, — спросил ее молодой человек, — что все это значит? Уж не женить ли вы меня хотите?

— Пока еще нет, моя душа! Но шутки в сторону: я должна с тобою говорить очень и очень серьезно. Скажи мне, сделай милость, что у тебя за друг такой — Границкий, что ли, он? как его?..

— Да, Границкий! Прекрасный молодой человек, хорошей фамилии...

— Я никогда об ней не слыхала. Скажи мне, отчего такая связь между вами?

— В одном местечке, в Италии, измученный, голодный, полубольной, я не нашел комнаты в трактире: он поделился со мною своею; я занемог: он ухаживал за мною целую неделю, ссудил меня деньгами, я взял с него слово, приезжая в Петербург, останавливаться у меня: вот начало нашего знакомства... Но что значат все ваши вопросы, тетушка?

— Послушай, мой милый! Все это очень хорошо; я очень понимаю, что какой-нибудь Границкий был рад оказать услугу барону Даурталю.

— Тетушка, вы говорите о моем истинном приятеле! — прервал ее молодой человек с неудовольствием.

— Все это очень хорошо, мой милый! Я не осуждаю твоего истинного приятеля, — его поступок с тобою делает ему много чести. Но позволь мне тебе сказать откровенно: ты молодой человек, едва вступаешь в свет; тебе надобно быть осторожным в выборе знакомства. Нынче молодые люди так развращены...

— Я думаю, тетушка, ни больше ни меньше, как всегда...

— Ничего не бывало! Тогда по крайней мере было больше почтения к родственникам; родственные связи, не как теперь, — они были теснее...

— И даже иногда слишком тесны, любезная тетушка, не правда ли?

— Не правда! Да дело не о том. Позволь мне тебе заметить, что ты в этом случае, о котором мы говорим, поступил очень ветрено: встретился и связался с человеком, которого никто не знает. Служит ли он по крайней мере где-нибудь?

— Нет.

— Ну, скажи же сам после этого, что он за человек! Даже не служит! Уж верно потому, что его не принимают в службу.

— Вы ошибаетесь, тетушка. Он не служит, потому что у него мать италиянка, и все его имение в Италии: он не может ее оставить, именно по причине родственных связей...

— Зачем же он здесь?

— По делам своего отца. Но скажите, Бога ради, к чему ведут все эти вопросы?

— Одним словом, мой милый, мне очень неприятна твоя дружба с этим человеком, и ты мне сделаешь большое одолжение, если... если выживешь его из дома.

— Помилуйте, тетушка! Вы знаете, что я во всем вам беспрекословно повинуюсь; но войдите в мое положение: с какой стати я вдруг переменюсь к человеку, которому столько обязан, и ни с того ни с сего выгоню его из дому? Воля ваша, я не могу решиться на такую неблагодарность.

— Все это вздор, мой милый! романические идеи, больше ничего! Есть манера, и очень вежливая, показать ему, что он тебе в тягость.

— Разумеется, тетушка, что это очень легко сделать; но я повторяю вам, что я не могу взять на мою совесть такую гнусную неблагодарность. Воля ваша, не могу, никак не могу...

— Послушай же! — отвечала маркиза после некоторого молчания, — ты знаешь все, чем ты обязан твоему брату...

— Тетушка!

— Не перерывай меня. Ты знаешь, что по смерти твоего отца он мог воспользоваться всем твоим именем; он не сделал этого, он взял тебя по третьему году на свои руки, воспитал тебя, привел все запущенные дела в порядок; когда ты вырос, записал тебя в службу, честно поделился с тобою именем; словом, ты ему обязан всем, чем ты дышишь...

— Тетушка, что вы хотите сказать?

— Слушай. Ты уже не ребенок и малый не глупый, но вынуждаешь меня сказать тебе то, чего бы я не хотела.

— Что такое, тетушка?

— Послушай! Дай мне прежде слово не делать никаких глупостей, а поступить, как следует благоразумному человеку.

— Бога ради, договорите, тетушка!

— Я в тебе уверена и потому спрашиваю тебя, не заметил ли ты чего-нибудь между баронессою и твоим Границким?

— Баронессою! Что это значит?..

— Твой Границкий с ней в интриге...

— Границкий?.. Быть не может!

— Я тебя не стану обманывать. Это верно: твой брат обещен, его седые волосы поруганы.

— Но надобны доказательства...

— Какие тебе доказательства? Ко мне уж об этом пишут из Лифляндии. Все жалеют о твоём брате и удивляются, как ты можешь помогать его обманывать.

— Я? его обманывать? Это клевета, тетушка, сущая клевета. Кто осмелился к вам написать это?

Этого я тебе не скажу; но оставлю тебе только рассудить, можно ли Границкому оставаться у тебя в доме. Твой долг тебя обязывает, пока эта связь не сделалась еще слишком гласною, стараться учтивым образом заставить его выехать из твоего дома, а если можно, и из России. Ты понимаешь, что это должно сделать без шума; найти какой-нибудь предлог...

— Будьте уверены, что все будет исполнено, тетушка. Благодарю вас за известие. Мои брат стар, слаб; это мое дело, мой долг... Прощайте...

— Постой, постой! не горячись! Тут не надобно никакой горячности, а хладнокровие: ты мне обещаешь, что ты не сделаешь никакой глупости, а поступишь, как следует благоразумному человеку, не мальчику?

— О, будьте спокойны, тетушка! Я все улажу как нельзя лучше. Прощайте.

— Не забудь, что тебе надобно поступить в этом случае очень осторожно! — кричала ему вслед маркиза. — Говори с Границким тихо, не горячись. Заведи речь стороню, обиняками... Понимаешь?

— Будьте спокойны, будьте спокойны, тетушка! — отвечал барон, убегая.

Кровь била ключом в голове молодого человека.

V

Будущее

...l'avenir n'est à personne Sire, l'avenir est à Dieu
*Victor Hugo*¹.

Во время этой сцены происходила другая.

Во внутренности огромного дома, позади блестящего магазина, находилась небольшая комната с одним окошком на двор, завешенным сторою. По виду комнаты трудно было отгадать, кому она принадлежала: простые штукатурные стены, низкий потолок, несколько старых стульев и огромное зеркало, в алькове богатый диван со всеми затеями роскоши, низкие кресла с выпнутою спинкою, — все это как-то спорило между собою. Одна дверь комнаты, через глухой коридор, соединяла ее с магазином; другая выходила на противоположную улицу.

По комнате ходил скорыми шагами молодой человек и часто останавливался, то посередине, то у дверей, и тщательно прислушивался. То был Границкий.

Вдруг послышался шорох, дверь отворилась, и прекрасная женщина, прекрасно одетая, бросилась в его объятия. То была графиня Лидия Рифейская.

— Знаешь ли, Габриель, — сказала она ему поспешно, — что здесь мы с тобою видимся в последний раз?

— В последний раз? — вскричал молодой человек, — но постой! что с тобою? ты так бледна?

— Ничего! Я немножко озябла. Спеша к тебе, я забыла надеть ботинки. Коридор такой холодный... Это ничего!

— Как ты неосторожна! Здоровьем пренебрегать не надо...

Молодой человек подвинул кресла к камину, посадил на них прекрасную женщину, разул ее и старался согреть прелестные ножки своим дыханием.

— О, перестань, Габриель! Минуты дороги; я насилу могла вырваться из дома; я пришла к тебе с важною новостью. У моего мужа второй удар и, — страшно выговорить, — доктора мне сказали, что мужу не пережить его: у него отнялся язык, лицо перекосилось, он страшен! бедный, не может выговорить ни слова!.. Едва поднимает руку! Ты не можешь поверить, как он мне жалок.

И графиня закрыла лицо свое рукою. Между тем Габриель целовал ее холодные, как будто из белого мрамора выточенные ножки и прижимал их к горячим щекам своим.

— Лидия, — говорил он, — Лидия! ты будешь свободна...

— Ах, говори мне это чаще, Габриель! Это одна мысль, которая на минуту заставляет меня забывать мое положение; но в этой мысли есть что-то страшное. Чтобы быть счастливою в твоих объятиях, мне надобно перешагнуть через гроб!.. Для моего счастья нужна смерть человека!.. Я должна желать этой смерти!.. Это ужасно, ужасно! Это переворачивает сердце, это противно природе.

Но, Лидия, если кто-нибудь виноват в этом, то, верно, не ты. Ты невинна, как ангел. Ты жертва приличий; тебя выдали замуж поневоле. Вспомни, сколько ты сопротивлялась воле своих родителей, вспомни все твои страдания, все наши страдания...

— Ах, Габриель, я все это знаю: и когда я подумаю о прошедшем, тогда совесть моя покойна. Бог видел, чего я ни перенесла в моей жизни! Но когда я взгляну на моего мужа, на его скосившееся лицо, на его дрожащую руку; когда он манит меня к себе, меня, в которой он в продолжение шести лет производил одно чувство — отвращение; когда я вспомню, что его всегда обманывала, что его теперь обманываю, тогда забываю,

¹ ...будущее никому не принадлежит, Ваше величество, будущее в руках божьих. Виктор Гюго (франц.).

какая цепь страданий, нравственных и физических, довела меня до этого обмана. Я изнываю между этими двумя мыслями, — и одна не уничтожает другой!

Границкий молчал: тщетно бы стал он утешать Лидию в эту минуту.

— Не сердись на меня, Габриель! — сказала она наконец, обнимая его голову. — Ты понимаешь меня; ты с детства привык понимать меня. Я одному тебе могу поверять мои страдания...

И она пламенно прижала его к груди своей.

— Но полно! Время бежит; я не могу здесь более оставаться... Вот тебе мой последний поцалуй! Теперь слушай: я верю, мы будем счастливы; я верю, то, что у нас отняло самовластие общества, возвратит нам провидение; но до того дня я вся принадлежу моему мужу. С сей поры я ежеминутною заботою, долгими ночами без сна у его постели, страданием не видать тебя, должна выкупить нашу любовь и вымолить у Бога наше счастье. Не старайся меня видеть, не пиши ко мне; позволь мне забыть тебя. Я тогда стану спокойнее, и совесть меньше меня будет мучить. Мне легче будет вообразить себя совершенно чистою, невинною... Прощай!.. Еще два слова: не переменяй ничего в твоём образе жизни, продолжай выезжать, танцевать, волочиться, как будто для тебя не готовится никакой перемены... Заезжай сегодня же навеститься о моем муже, но я тебя не приму: ты не родня. И сегодня же поезжай и везде равнодушно рассказывай об его болезни. Прощай!

— Постой! Лидия! Еще один поцелуй!.. Сколько долгих дней пройдет...

— О, не напоминай мне больше об этом!.. Прощай. Будь терпеливее меня. Помни: будет время, и я не буду говорить тебе: «идут — отойди, Габриель!...» О, ужасно! ужасно!

Они расстались.

VI

Это можно было предвидеть

- Vous allez me rabacher je ne sais quels lieux communs de morale, que tous ont dans la bouche, qu'on fait sonner bien haut, pourvu que personne ne soit obligé de les praliquer.
— Mais s'ils se jettent dans le crime?
— C'est de leur condition.

Le neveu de Rameau ¹.

В сильном волнении молодой барон Дауерталь возвратился домой.

— Дома ли Границкий? — спросил он.

— Никак нет.

— Сказать мне, как скоро он приедет.

Тут он вспомнил, что Границкий должен был вечером ехать к Б***.

Минуты этого ожидания были ужасны для молодого человека: он чувствовал, что в первый раз в жизни он призван на важное дело; что тут нельзя было отвертеться ни эпиграммою, ни равнодушием, ни улыбкою; что здесь надобно было сильно чувст-

— Вы станете мне твердить Бог знает какие общие морали, которые у всех на устах и провозглашаются всеми очень громко, только бы никто не обязан был бы их исполнять.

— Но если они дойдут до преступления?

— Это их дело.

Племянник Рамо (франц.).

воватъ, сильно думать, сосредоточить все силы души; что, одним словом, надобно было действовать, и действовать самому, не требуя советов, не ожидая подпоры. Но такое напряжение было ему незнакомо; он не мог себе отдать отчета в своих мыслях. Лишь кровь его разгоралась, лишь сердце в нем билось чаще. Ему представлялись как будто во сне городские толки; его брат в сядинах, оскорбленный и слабый; желание показать свою любовь и благодарность к старику; товарищи, эполеты, сабли, ребяческая досада; охота показать, что он уже не ребенок; мысль, что смертоубийством заглаживается всякое преступление. Все эти грезы сменялись одна другою, но все было темно, неопределенно; он не умел спросить у того судилища, которое не зависит от временных предрассудков и мнений, произносит всегда точно и верно: воспитание забыло ему сказать об этом судилище, а жизнь не научила спрашивать. Язык судилища был неизвестен барону.

Наконец пробил час. Молодой человек бросился в карету, поскакал, нашел Границкого, взял его за руку, вывел из толпы в отдаленную комнату, и... не знал, что сказать ему; наконец вспомнил слова тетюшки и, стараясь принять вид хладнокровный, проговорил:

— Ты едешь в Италию!

— Нет еще, — отвечал Границкий, приняв эти слова за вопрос и смотря на него с удивлением.

— Ты должен ехать в Италию! Ты меня понимаешь?

— Нисколько!

— Я хочу, чтоб ты ехал в Италию! — сказал барон, возвысив голос. — Теперь понимаешь?

— Скажи мне, сделай милость: что, ты с ума сошел, что ли?

— Есть люди, которых я не назову, для которых всякое благородство — сумасшествие...

— Барон, ты не знаешь, что говоришь! Твои слова пахнут порохом.

— Я привык к этому запаху.

— На маневрах?

— Это мы увидим.

Глаза барона заблистали: дело шло уже о личной обиде.

Они взяли слово с людей, вошедших в комнату к концу разговора, сохранить его в тайне, воротились снова в залу, сделали несколько вальсовых кругов и исчезли.

Через несколько часов уже секунданты отмеривали шаги и заряжали пистолеты.

Границкий подошел к барону.

— Прежде нежели мы отправим друг друга на тот свет, мне очень любопытно узнать, за что мы стреляемся.

Барон отвел своего соперника в сторону от секундантов.

— Вам это должно быть понятнее меня... — сказал он.

— Нисколько.

— Если я вам назову одну женщину...

— Женщину!.. Но какую?

— Это уж слишком! Жена моего брата, моего старого, больного брата, моего благодетеля... Понимаете?

— Теперь уж совершенно ничего не понимаю!

— Это странно! Весь город говорит, что вы обесчестили моего брата; все смеются над ним...

— Барон! вас бессовестно обманули. Прощу вас назвать мне обманщика.

— Это мне сказала женщина.

— Барон! вы поступили очень опрометчиво. Если б вы прежде спросили меня, я бы вам рассказал мое положение; но теперь поздно, мы должны драться. Но я не хочу умереть, оставив вас в обмане: вот вам моя рука, что я не думал о баронессе.

Молодой барон был в сильном смущении в продолжение разговора: он любил Границкого, знал его благородство, верил, что он его не обманывает, и проклинал самого себя, тетюшку, целый свет.

Один из секундантов, старинный дуэлист и очень строгий в делах этого рода, сказал:

— И, и, господа! У вас, кажется, дело на лад идет? Тем лучше: миритесь, миритесь; право, лучше...

Эти слова были сказаны очень просто, но барону они показались насмешкою, — или в самом деле в тоне голоса секунданта было что-то насмешливое. Кровь вспыхнула в молодом человеке.

— О нет! — вскричал он, почти сам не зная, что говорит. — Нет, мы и не думаем мириться. У нас есть важное объяснение...

Последнее слово снова напомнило молодому человеку его преступную неосторожность: вне себя, волнуемый необъяснимыми чувствами, он вторично отвел своего соперника в сторону.

— Границкий! — сказал он ему, — я поступил как ребенок. Что нам делать?

— Не знаю, — отвечал Границкий.

— Рассказать секундантам нашу странную ошибку?..

Это будет значить распространить слухи о жене твоего брата.

Ты смеялся над моею храбростию; секунданты знают это.

— Ты мне говорил таким тоном...

— Это не может так остаться!

— Это не может так остаться!

— Скажут, что на нашем дуэле пролилась не кровь, а шампанское...

— Постараемся оцарапать друг друга.

Они стали к барьеру. Раз, два, три! — пуля Границкого оцарапала руку барона; Границкий упал мертвый.

VII

Заключение

Существуют охотники защищать
всех и всё: они ни в чем не хотят
видеть дурного. Эти люди
очень вредны...

Светское суждение.

Всякий читатель, вероятно, уже догадывается, что вышло из всей этой истории.

Пока о дуэли знали одни мужчины, то приписывали его просто насмешке Границкого над храбростью молодого барона; толки были различны. Но когда узнали об этом происшествии нравственные дамы, описанные нами выше, тогда прекратились все недоразумения: истинная причина была тотчас отыскана, исследована, обработана, дополнена примечаниями и распространена всеми возможными способами.

Бедная баронесса не устояла против этого жестокого преследования: ее честь, единственное чувство, которое было в ней живо и свято, ее честь, которой она прино-

сила в жертву все мысли ума, все движения юного сердца, ее честь была поругана без вины и без возврата. Баронесса слегла в постель.

Молодой барон и двое секундантов были сосланы, — далеко от всех наслаждений светской жизни, которая одна могла быть для них счастьем.

Графиня Рифейская осталась вдовою.

Есть поступки, которые преследуются обществом: погибают виновные, погибают невинные. Есть люди, которые полными руками сеют бедствие, в душах высоких и нежных возбуждают отвращение к человечеству, словом, торжественно подпиливают основания общества, и общество согревает их в груди своей, как бессмысленное солнце, которое равнодушно всходит и над криками битвы, и над молитвою мудрого.

Для княжны Мими была составлена партия, — она уже отказалась от танцев. Молодой человек подошел к зеленому столу.

— Сегодня поутру наконец кончились страдания баронессы Дауерталь! — сказал он, — здешние дамы могут похвалиться, что они очень искусно ее убили до смерти.

— Какая дерзость! — шепнул кто-то другому.

— Ничего не бывало! — возразила княжна Мими, закрывая взятку, — убивают не люди, а незаконные страсти.

— О, без сомнения! — заметили многие.

Imbroglia ¹

(Из записок путешественника)

(Один из моих приятелей сообщил мне описание странного приключения, случившегося с ним во время его путешествия по Италии. Мой приятель не автор и не умеет рассказывать красно и витиевато; желаю, чтоб интерес самого происшествия заменил для моих читателей красоту рассказа. Повторяю, мой приятель не автор, но простой путешественник, турист, для очистки совести принявший за перо.)

Солнце уже заходило. Пароход наш летел стрелою. Неаполитанский залив открывался во всем своем величии. Пассажиры бросились на палубу. Хотя мы уже седьмой день все больше и больше подвигались под итальянское небо, но при виде берега оно показалось нам еще прекраснее. Я не буду описывать наших восклицаний, наших восхищений, нашей радости: надобно испытать ее.

Дым из парового котла, как будто сердясь на долгое заключение, с шипением и брызгами выскочил из трубы; колеса замерли; нас окружили тысячи лодок. Путешествуя без слуги, я взвалил на плечи свой маленький чемоданчик и бросился в одну из них.

— Alle crocelle a Santa Lucia ², — сказал я гребцу, справившись со своим Guide de voyageur ³, какой трактир всех дешевле.

— Si, signore ⁴, — отвечал лодочник и сильно взмахнул веслами.

¹ Путаница (итал.).

² Причалы к Санта Лучиа (итал.).

³ Путеводителем для путешественников (франц.).

⁴ Слушаю, господин (итал.).

Добравшись до трактира, я занял первую мне попавшуюся комнату, сбросил скорее с плеч котомку, отдал мои бумаги трактирщику и со всем нетерпением северного жителя выбежал на улицу, чтоб насладиться роскошной итальянской ночью и величественной картиной, бывшею у меня перед глазами. Долго бродил я по улицам и нечувствительно дошел до Villa-reale, на берег моря. Все поражало меня, все привлекало мое внимание, — и архитектура зданий, и новая для меня одежда, и черты лиц, опаленных солнцем. Я прислушивался к пению рыбаков, к повестям их рассказчиков, заходил в церкви, заглядывал в окошки домов — словом, наслаждался вполне, как только может наслаждаться человек, внезапно через море перенесенный из далекого севера в поэтическое отечество Тасса. В этом наслаждении я не замечал времени, как вдруг небо потемнело; тут я вспомнил, что в южных странах не бывает сумерек и что мне, иностранцу, легко можно заблудиться; впрочем, других опасностей я не предвидывал, время романических приключений прошло и для Италии; грозных, поэтических разбойников уняла полиция; к тому же мой небогатый наряд и еще менее богатый кошелек не могли обратить на себя корыстолюбивого внимания. Я подумал и решился поверить мой орган местной памяти — добраться до ночлега, никого не спрашивая. Признаюсь, мне почти хотелось не найти моего трактира, чтоб иметь случай провести ночь под открытым небом. Но не успел я пройти несколько шагов, как почувствовал, как две сильные руки схватили меня сзади; в ту же минуту другие две руки накинута на лицо и затянули так крепко, что я не мог даже закричать, не только видеть, кому вздумалось так забавляться надо мною.

Было не до шуток, когда я почувствовал, что мне связали руки и ноги и потащили Бог знает куда с большой быстротою. Всякое сопротивление было тщетно; я позволил делать с собою все, что было угодно моим носильщикам, и с нетерпением ожидал развязки этого странного приключения. Наконец мы остановились. Послышался шум весел, и я скоро почувствовал, что нахожусь в лодке. Это меня несколько успокоило. «Если бы я был взят разбойниками, — подумал я, — то они не стали бы столько со мною церемониться». Но тут мне пришли в голову рассказы о людях, которые были задержаны шайкою воров и могли освободиться только посредством большого выкупа, в ожидании которого *ibravi*¹ занимаются обрезыванием носов и ушей у жертв своих. От этой мысли дрожь у меня пробежала по членам: понятие о богатстве русских, которое имеют в Италии; мое слишком недостаточное состояние; уверенность, что я не легко могу освободиться от бездельников и что, может быть, очень горькая участь меня ожидает, — все это стеснилось в голове моей и рисовало картину ужасную. Но тут я вспомнил, что никогда не слыхано о подобных приключениях в Неаполе, и снова начал теряться в догадках. Тщетно хотел я прислушаться к разговору моих товарищей: они хранили глубокое молчание. Наконец лодка причалила к берегу, снова мои проводники подняли меня на руки, пронесли несколько шагов, — я услышал скрип дверей и почувствовал, что меня тащат по лестнице. Послышались звуки нескольких голосов; ближе, ближе; наконец сильная рука схватила меня за грудь и грубый, задышающийся от гнева голос проговорил:

— Scelerato!²

Между тем развязали мне ноги, протащили еще несколько шагов, и раздался крик женщины. В эту минуту повязка, закрывающая мое лицо, была сорвана, и я увидел себя в комнате, обитой черным сукном, — перед собой молодую прекрасную женщину в черном платье, которая бросилась в мои объятия и вдруг отступила, встала на колени и с радостным криком начала благодарить Бога. Возле меня стоял человек пожилых лет, с обнаженным кинжалом в руке, и еще другой, уже поседевший.

¹ разбойники (итал.).

² Негодай! (итал.)

— Тщетно ты хочешь обмануть нас, — сказал первый по-итальянски, обращаясь к молодой женщине, — вместо этих сцен лучше спешి проститься с ним; его последняя минута наступила.

Молодая женщина ничего не отвечала: она смотрела на меня и, казалось, была в нерешимости. Наконец она как бы превозмогла себя и вскричала:

— Судьба обманула вас; это не он.

Тут я постарался вспомнить те слова, которые слышал в итальянских операх, и, запинаясь каждую минуту, сказал почти следующее:

— Я вижу, милостивые государи, что я здесь жертва какого-то недоразумения и что вы меня принимаете за другого. Я не буду говорить вам, как противно чести нападать на безоружного человека...

— Тут не о чести дело, — вскричал старик с гневом. Однако ж мой иностранный выговор, казалось, поразил их: я видел на их лице недоумение.

— Я иностранец, милостивые государи, — продолжал я.

— Неправда! — вскричали оба.

— Я сейчас только с парохода.

— Это мы знаем.

— Я офицер русской службы.

— И это мы знаем; мы знаем все твои обстоятельства.

— Если так, милостивые государи, то я уже решительно не понимаю, зачем я здесь. Я никогда не бывал в Италии, даже не имею здесь ни одного знакомого. Я русский, милостивые государи, повторяю вам и прибавлю, что мое правительство не терпит, чтоб мне была нанесена какая-нибудь обида...

Мои странные фразы, мой иностранный выговор, видимо, поражал их; они смотрели в нерешимости то друг на друга, то на молодую женщину, которая, сидя в креслах, спокойно ожидала окончания нашего разговора.

— Покажите ваши бумаги? — сказал мне один из незнакомцев.

Тут я вспомнил, как неосторожно поступил я, оставив свои бумаги у трактирщика и не побывавши прежде у нашего посланника. Как бы упавший с неба посреди людей, мне совершенно незнакомых, в стране иноземной, не знаемой никем из моих соотечественников, я был в полной власти моих гонителей.

— Мои бумаги остались в трактире, — отвечал я. — Вы можете об них справиться.

— Прекрасная выдумка! Вы знаете, что мы не можем об них справляться.

С этими словами незнакомец расстегнул мой фрак, без церемонии опустил руку в карман и вынул из него случайно оставшуюся в нем записку одного из моих друзей, писанную по-русски.

— Язык, на котором писана эта записка, — сказал я, — может вам доказать, что я не тот, за кого вы меня принимаете.

— Эта записка ничего не доказывает; мы повторяем: нам известно, что вы приехали из России. Скажите, если вы в самом деле иностранец, что заставило вас остановиться не в таком трактире, где обыкновенно останавливаются иностранцы? что вас заставило так поспешно выскочить из парохода? зачем вы бежали по улицам? чего вы смотрели в окошках?

Кровь моя взволновалась, но я постарался скрыть свою досаду.

— На эти вопросы, — сказал я, — может, должно было бы мне отвечать вам также вопросом: какое вы имеете право требовать от меня отчета? Но в положении, в котором нахожусь, я скажу вам, что все эти, по-видимому, странные обстоятельства легко объясняются нетерпением путешественника, из дальней страны в первый раз попавшему в Неаполь, где, признаюсь, он не ожидал себе такого приема.

— Это все выдумки, — вскричали незнакомцы. — Мы не ребята; нас обмануть трудно, и это вы сейчас увидите.

С этими словами старик вышел из комнаты. Прошло несколько минут в совершенном молчании; мои руки все еще были связаны, и младший из незнакомцев все стоял подле меня с обнаженным кинжалом. Он наблюдал каждое мое движение. Тяжка была для меня эта минута; я задыхался от различных чувствований, волновавшихся в моем сердце. Если б это состояние еще несколько продолжилось, я бы не вытерпел и, несмотря на неровность сил, постарался бы, хоть с потерей жизни, выйти из моего странного положения; но дверь отворилась, и лицо, как мне казалось, старой женщины, закрывавшейся платком, выставилось из-за двери.

— Это не он! — сказала она, взглянув на меня, и скрылась.

Крик досады вырвался из груди двух мужчин; они отошли в сторону и начали тихо разговаривать между собою. Мало-помалу голос их возвышался, и из слов, отражавшихся от сводов залы, мог я заключить, что я слишком много знал для их безопасности. Бездельники спорили, что будет лучше — оставить ли меня в живых, или бросить в море.

Минута была решительная, и я сказал им:

— Вы, кажется, уверились теперь, господа, что я не тот, кого вам надобно. Как ни обидно мне то положение, в которое вы меня поставили, и как бы ни хотел я потребовать у вас отчета в ваших со мною поступках, но я вхожу и в ваше положение: я могу вам дать слово, что если вы отпустите меня, то я сохраню все происшедшее в ненарушимой тайне: она умрет вместе со мною.

Они посмотрели на меня, снова отошли в сторону и снова заспорили.

— Я должен вам напомнить, — продолжал я, — что для вашей же собственной пользы вам гораздо безопаснее положиться на честное слово благородного человека, нежели скрыть это преступление новым преступлением. Я не имею никакого интереса узнавать вашей тайны, и через несколько дней оставлю Неаполь, разумеется, навсегда. Смерть же моя рано или поздно может довести то открытия тайны; мои бумаги, вероятно, уже известны полиции; мои соотечественники, приехавшие со мною на пароходе, русское посольство употребят, уверяю вас, все возможные средства для открытия истины. Я оставляю вам на суд, что для вас выгоднее.

Эти слова, кажется, произвели над ними некоторое действие; они снова отошли в сторону, но разговор их сделался гораздо спокойнее. Наконец молодой человек подошел ко мне.

— Действительно, милостивый государь, — сказал он мне, — мы ошиблись. Станный случай открыл вам до некоторой степени тайну нашего семейства. Собственная наша безопасность заставляла бы нас прибегнуть к *самому верному* средству для сохранения этой тайны; но мы хотим лучше верить вашему честному слову. Мы решились отпустить вас, милостивый государь; но знайте, что с этим происшествием связана участь знатнейших фамилий Италии; что малейшая ваша нескромность будет в ту же минуту наказана смертью. Случившееся с вами сегодня может показать вам, что мы имеем все нужные для того способы. Вы должны нам поклясться всем, что для вас есть святого в жизни: вашей родиной, вашими родными, вашей честью, что вы нигде, никогда, ни в каком случае, ни на исповеди, ни в терзаниях пытки, ни словом, ни движением не только не откроете всего с вами происшедшего, но даже не будете стараться объяснить его себе или даже встретиться с кем-либо из нас.

Делать было нечего — я поклялся.

— Теперь вы свободны, — сказал молодой человек, — вас сию минуту отвезут на вашу квартиру; но вы извините нас, если мы принуждены будем принять прежнюю предосторожность и завязать вам глаза. Руки ваши останутся свободны; мы полагаем-

ся на ваше благородство и верим, что вы не сделаете ни малейшего усилия поднять повязку.

Я позволил делать все, что им было угодно.

— С этой минуты, — продолжал молодой человек, — мы как будто бы никогда не существовали друг для друга. Старайтесь, советую вам для вашей пользы, истребить из памяти даже черты лиц наших. С нашей стороны для вас великая жертва; умейте ценить ее.

Две сильные руки снова взяли меня под мышки, снова мы сошли несколько ступеней лестницы; снова заскрипели двери, снова я услышал шум весел и почувствовал качание лодки. Мои проводники по-прежнему погрузились в глубокое безмолвие.

Уже довольно долго продолжалось наше плавание; я уже думал, что приближается минута моего освобождения, как вдруг между моими проводниками я заметил некоторое движение.

— Здесь кто-то есть, — сказал шепотом один голос.

— Это свернутый парус, — отвечал другой.

— Нет, здесь что-то живое, — возразил первый. После минуты безмолвия я услышал крик, шелест скользнувшего кинжала, слабый стон умирающего.

— Стой! стой! — закричали вокруг нас несколько голосов.

Это было уже слишком: я не вытерпел, сорвал с себя повязку. Луна светила, — у ног моих лежал окровавленный труп! Я еще не мог прийти в себя при виде ужасного зрелища, как лодка, на которой я находился, была примкнута крючьями к другой, из которой в то же мгновение выскочили незнакомые мне люди, по мундирам которых я догадался, что то должны быть полицейские служители. Проводников моих уже в лодке не было; несколько выстрелов, сделанных солдатами, заставили меня заключить, что мои прежние знакомые бросились в море.

Новые мои знакомые не оставили мне ни минуты на размышление, не дали мне выговорить ни слова, а без церемоний связали мне руки и положили в полицейскую барку. На вопрос мой, куда они везут меня! — Туда, — отвечал мне один из сборов, — куда обыкновенно возят таких храбрых молодцов, как ты.

В этом ответе не было для меня ничего утешительного. На все мои слова, на все доказательства, что я ничего не понимаю в этом происшествии, мне отвечали, что это не их дело и что завтра разберут все по порядку.

Лодка причалила к берегу; мы вышли и, пройдя недалеко по каким-то переулкам, остановились перед большим зданием, возле которого стояли часовые. Огромные железные двери поворотились на своих верях передо мною, но едва подвели меня к ним, как не знаю кто-то сунул мне в руку небольшую бумажку: я машинально сжал ее в руке и продолжал следовать за провожатыми, думая, что наконец встречу кого-нибудь, с кем можно будет объясниться; но мое ожидание было тщетно. Провожатые поворотили в маленький коридор, отворили небольшую низенькую дверь, втокнули меня в нее, дверь захлопнулась, — за мной заперли несколько дверей. Тщетны были бы все мои крики; я решился терпеливо ожидать конца моей участи. Я посмотрел вокруг себя: то была маленькая четверугольная комната, без постели, без стула, даже без окон; небольшое отверстие, сажени две от полу, с железною решеткою, пропускало в комнату свет от фонаря, находившегося снаружи. Когда вокруг меня воцарилось совершенное безмолвие, прерываемое иногда шагами часового, а иногда стонами, как бы выходившими из соседственных комнат, я решился подойти к светлому кругу, производимому отражением тусклого фонаря, развернул записку и с трудом разобрал в ней следующие слова: «Не забывайте данного вами обещания и будьте спокойны».

Признаюсь, эта записка мало меня порадовала. Я видел в ней только странную цепь, которая привязывала меня к кровавой тайне; второй половине записки я доверял мало.

И грустно мне было, и досадно, и холодно; я не мог даже ходить по моей итальянской квартире: пол был вымощен плитой; я беспрестанно посклизался от находившейся на нем сырости. Удушливый воздух захватывал дыхание, сырость проникала члены, и холодный пот лился с меня градом.

Вся твердость меня оставила: в отчаянии я прислонился к стене, покрытой плесенью, и горькие размышления взволновали во мне душу.

«Вот судьба человеческая! — думал я. — Каких препятствий не должен был я преодолеть для этого путешествия? В продолжение нескольких лет я трудился, откладывал деньги, отказывал себе во всем, чтоб сохранить небольшую сумму — все для того, чтоб видеть Италию; с тою мыслию засыпал и просыпался; наконец достиг желаемой цели, оставил отечество, родных, друзей, все милое моему сердцу... Для чего? Чтоб едва не лишиться жизни, испытать все возможное уничижение от каких-то бездельников; чтоб мне, отворачивавшемуся от порезанного пальца, видеть у ног своих человека, плавающего в крови, и в заключение попасть в тюрьму, быть почти обвиненному в уголовном преступлении и провести первую ночь в Италии на голom полу, под заплесневелым сводом... И кто знает, что еще ждет меня?» Мысли мои делались час от часу мрачнее; я понял защитников исправительной системы, которые советуют запираť преступника в темную комнату и удалять его от всякого сообщения с людьми: ничто так не погружает человека в самого себя, ничто так не переносит в мир отвлеченных понятий, как одиночество, темнота, безмолвие. Я, веселый, беззаботный житель столицы, для которого наем квартиры был самою отвлеченною в жизни идеей, — я вдруг обратился в философа, и неожиданно дошел до самых важных вопросов человеческой жизни, которыми заниматься мне до сих пор казалось пустым педантизмом или мечтами, ни к чему не ведущими.

Скоро усталость, однообразные шаги часового погрузили меня в род дремоты. Мысли мои час от часу мешались более, соединяясь с полугрезами: то холодные руки хватали меня за плечи, то ледяная гора скользила по моим щекам, то являлись безжизненные, свинцовые лица, — и из глаз их по синим бороздам катились кровавые слезы, растягивались и паутиною обвивались вокруг меня; то мне казалось, что я был прикреплен к маятнику огромных часов и при каждом взмахе тщетно старался прицепиться за скользкую стену: я просыпался и засыпал беспрестанно. Не знаю, как долго находился я в этом состоянии; когда я пришел в себя, то очень удивился, что шаги часового, единственный признак жизни в этом ужасном безмолвии, прекратились. Вероятно, это самое обстоятельство заставило меня и проснуться. Но мое удивление еще увеличилось, когда я почувствовал, что стена за мною движется. Сначала я подумал, что это мечта расстроенного воображения; но, привстав, явственно увидел, что кирпичи в стене точно шевелятся. Невольное чувство заставило меня к ним прикоснуться. Я очень легко вынул один из них; и едва я его вынул, как в отверстии показался железный лом. Незнакомый голос шепотом говорил мне по-итальянски: «Русский, русский». Впросонках, не будучи в состоянии отдать себе отчета в своих мыслях, я, по невольному движению и по естественному, сильному желанию выйти из темницы, схватился за лом и начал обрушивать остальные кирпичи; но в самую эту минуту двери моей темницы с шумом отворились, из отверстия раздался крик, слышались выстрелы, тревога. Я увидел себя окруженным тюремщиками. Тут уже мне говорить было нечего: лом был в моих руках!.. Желание бежать — явно!.. И я, в совершенном ослаблении сил, позволил себя связать, не говоря ни слова. Из этой комнаты меня перевели в другую, еще ужаснейшую первой: в ней была едва сажень

в длину и ширину. Меня бросили на пук гнилой соломы и приковали к ввернутой в стену цепи. Эта комната не имела никакого отверстия, кроме небольшой скважины в двери, в которую беспрестанно выставлялось лицо часового. Несколько часов провел я в этом ужасном состоянии; мысль, что я своим побегом дал себе вид преступника, беспокойное положение, в котором я находился, не позволяли мне свести глаз ни на одну минуту. Наконец я заметил какой-то белесоватый свет в отверстии двери, по которому догадался, что наступило утро.

Этот свет был большим для меня утешением. «Чем бы это ни кончилось, — думал я, — по крайней мере я выйду из мучительного положения!» Действительно, через несколько времени послышался шум, дверь отворилась, вошедшие сбиры отперли пояс, приковывавший меня к стене, и, окружив меня, с обнаженными саблями, вывели из тесного ночлега; мы прошли несколько коридоров и очутились во внутреннем дворе тюремного замка. Солнце всходило, легкий ветерок обвевал меня теплым воздухом, и я понял то чувство, которое ощущают люди, выходящие из долгого заключения на светлое небо.

Скоро мои провожатые ввели меня в комнату, где за столами сидели писцы. Мы прошли мимо их; они едва подняли головы — вероятно, им были в привычку такие явления. Наконец провожатые ввели меня в комнату, где за большим столом сидел человек в черном фраке, довольно тучный, который, прищуривая свои маленькие глазки, спросил мое имя. Я сказал ему имя и прибавил, что нахожусь в таком странном положении, которое могу объяснить только русскому посланнику. В ту же минуту мой новый знакомец отправил чиновника за моими бумагами и потом, обратясь ко мне, сказал:

— Желанье ваше видеть русского посланника будет исполнено, если, разумеется, он согласится на вашу просьбу. Но я должен вас предупредить, что если вы и в самом деле тот, за кого вы себя выдаете, то ваш посланник не будет иметь права и даже не захочет вмешиваться в дело смертоубийства. Во всяком случае, вы будете судимы по законам той земли, в которой вы находитесь, и никто на свете не будет в состоянии спасти вас от участи, ожидающей смертоубийцу. Одно добровольное ваше признание, и если вы назовете ваших соумышленников, возможно несколько смягчить строгость законов.

— Смертоубийцу? — вскричал я, — соумышленников? Но, именем Бога, кого же умертвил я?

— Вы знаете, что вас застали над трупом полицейского чиновника, который был отправлен для наблюдения за приготовившимся злодеянием.

— Милостивый государь! — отвечал я, — я не мог убить никого, потому что сам находился пленником на той же лодке, на которой меня застала полиция.

— Пленником? Но чем вы это докажете?

— Тем, милостивый государь, что я сидел в лодке с завязанными глазами.

Судья взял лежавший на столе кусок полотна, в котором я узнал бывшую на мне повязку; приложил ее к моему лицу, стараясь сохранить оттиски, на ней оставшиеся, и действительно увидел, что они приходились мне по мерке.

— Это доказательство, правда, несколько служит подтверждением ваших слов; но зачем и каким образом вы попались на эту лодку?

— Этого я не могу сказать вам. Я дал страшную клятву честного человека никому не открывать этой тайны.

— Вы можете сами рассудить, — сказал мне судья, — что это обстоятельство увеличивает подозрение правосудия, тем более что в нынешнюю ночь было сделано покушение освободить вас. Это не могло быть сделано без вашего согласия — что, впрочем, доказывается и тем положением, в котором вас застали.

Я старался объяснить сколько мог, что я не имел понятия о людях, желавших освободить меня; старался объяснить то невольное чувство, которое, в минуту пробуждения от сна, заставило меня против собственной моей воли способствовать неизвестным моим освободителям, — но я сам чувствовал, что все слова мои были темны. Между тем принесены были мои бумаги; посмотрев их, судья сказал мне:

— Действительно, по вашим бумагам я вижу, что вы иностранец, вчера только вечером приехавший в Неаполь, и что невероятно предполагать в вас убийцу неизвестного полицейского чиновника; но вы согласитесь сами, что обстоятельства дела вашего так странны: правительство не будет в состоянии оправдать вас, если вы не дадите нужных объяснений. Напишите письмо к вашему посланнику: может быть, он убедит вас быть откровеннее.

Я благодарил судью за его участие ко мне и поспешил написать письмо. Когда я его окончил, судья сказал мне: — Ваше письмо будет сию минуту отправлено; в ожидании ответа вы извините нас, если мы должны соблюсти меры предосторожности, которые обыкновенно принимаются в этих случаях.

Меня отвели в прежнюю мою комнату, но цепей уже более не надевали.

Через несколько минут я получил позволение явиться к посланнику, однако ж в сопровождении жандарма. Посланник принял меня как нельзя лучше и, имея уже обо мне сведения как по письмам, так и по словам моих товарищей на пароходе, вошел совершенно в мое положение; понял то чувство чести, которое воспрещало мне открыть всю тайну, однако ж сказал мне, что все, что он может сделать в мою пользу, — это засвидетельствовать перед неаполитанским правительством о моем звании и о моем поведении. Он присовокупил, что все прочее он должен будет предоставить на произвол туземных судилищ.

Все это, признаюсь, мало меня утешало, особливо когда, при выходе от посланника, я был приглашен жандармским офицером в прежнюю карету. «Чорт возьми! — думал я, — за делом я приехал в Неаполь. Прекрасное лечение — ходить для здоровья под обнаженными шпагами и дышать заплесневелым воздухом тюремных замков!» По возвращении в мою печальную квартиру мне отвели комнату несколько получше прежней. На этот раз все предосторожности ограничились лишь моим честным словом, что я не предприму ничего предосудительного до решения моей участи. В таком положении я провел день до вечера, и одно захождение солнца напомнило мне, что уже более суток у меня ничего не было в желудке: так сильное движение чувств может победить в человеке физические потребности! Но едва я вспомнил об этом, как в ту же минуту почувствовал жесточайший голод, и принесенные запачканным сбиром несколько волокон макарон показались мне самым вкусным блюдом, которое когда-либо мне попадалось в продолжение жизни. Таков был мой первый обед в Неаполе. Я не успел еще окончить скудного пиршества, когда снова вошел ко мне полицейский офицер.

— Ваш посланник, — сказал он. — принял вас на свое поручительство; с сей минуты вы свободны, но потрудитесь прежде подтвердить подписью ваши словесные показания пред судьей нынешним утром, равно и подписать обещание по первому позыву являться в суд.

Я подписал все, чего хотели, и вне себя от радости выскочил из места своего заключения. Я не хотел более оставаться в том трактире, который был виною моего несчастного приключения и в тот же день переехал, или лучше сказать, перенес мою котомку в другой, alla Vittoria, у самых ворот прелестной Villa Reale. Не успел я отдохнуть, как вошедший трактирщик подал мне небольшой сверток.

— От кого? — спросил я.

— Не знаю, — отвечал он мне.

Признаюсь, с большим неудовольствием развернул я этот сверток, — так я был напуган всякою таинственностью.

В свертке находился перстень старинной работы, на котором изображены были какие-то, как мне казалось, египетские фигуры — змея с львиной головою, какой-то сосуд, непонятные знаки и буквы. При перстне находилась записка: «Вы сами, не зная того, спасли жизнь одной особы. Люди, которые одолжены вами, боялись оскорбить вас денежною платою; но они надеются, что вы не откажетесь принять, в знак памяти, прилагаемый при сем перстень. Он когда-нибудь может вам пригодиться; сверх того, как вы сами можете заметить, этот перстень принадлежит к числу таких редкостей, которыми дорожат ваши соотечественники и которые не приобретаются деньгами. Однако ж до некоторого времени вы хорошо сделаете, если никому не будете его показывать. Мы боимся снова нарушить ваше спокойствие».

Малознакомый с древностями, я едва обратил внимание на чудесный перстень и чуть не выбросил его из окошка, — так одна мысль обо всем, относившемся к моему приключению, обдавала меня холодом; однако по некотором размышлении я положил перстень в свой бритвенный ящичек.

Я провел несколько дней в совершенном уединении, ожидая нового посещения полицейского чиновника, но он не являлся: не знаю, ходатайство ли посланника, интриги ли моих незнакомых друзей-врагов были причиною тому, что меня оставляли в покое? Наконец я ободрился. Журналы, которые приносил мне трактирщик, толковали о новой певице, приводившей в восхищение весь Неаполь. Я решился отправиться в Сан-Карло. Сходя с лестницы трактира, я заметил сошедшего с верхнего этажа низенького старика, в черном фраке, напудренного; во всей его особе было какое-то странное беспокойство; переступая ступени, он весь шевелился; его руки, ноги, нос, глаза, все было в каком-то движении. Смотря на него, можно было подумать, что он чему-то раз в жизни удивился и навек застыл в этом положении. Все эти наблюдения я уже сделал впоследствии, а в ту минуту взглянул на него с тем равнодушным любопытством, с каким смотришь на соседа, ибо по разговору его со встретившимся трактирщиком я догадался, что мой старик живет со мною в одном доме. Не желая заводить новое знакомство, я пошел своей дорогой. Прошед несколько улиц, я оборотился и, к чрезвычайному моему удивлению, увидел, что мой старик следует за мною. Напуганный всем со мною случившимся, я очень был недоволен этим сообществом. Желая избавиться от моего провожатого, я подошел к первому встретившемуся человеку и просил его указать мне ближайшую дорогу в Сан-Карло. В эту минуту старичок догнал меня и, услышав мой вопрос, сказал с чрезвычайною быстротою: «Вы идете в Сан-Карло? Вы, верно, иностранец? Вы не знаете дороги? Я иду туда же... угодно вам идти вместе со мною?»

Отказаться было невозможно. В продолжение дороги мой старик говорил беспрестанно; закидал меня вопросами, не дожидаясь ответов; успел мне рассказать, что он большой любитель древностей, имеет большое собрание монет, живет со мною в одном доме; что сегодня на театре будет играть певица, которая давно уже не являлась на сцене; что в России должно быть очень холодно; что в нашем трактире стол не всегда хорош; что у синьоры Грандини в голосе две или три ноты фальшивых; что он сам умеет делать прекрасные макароны...

Все это чудным образом мешалось в разговоре г. Амброзия Бепеволо — так назывался мой новый знакомец.

Мы вошли в театр и заняли рядом два порожние места. Давали [«Анну Болену»](#) Донизетти. Пораженный великолепием спектакля, я не сводил глаз с него. Но вообразите мое удивление, когда в примадонне я узнал ту женщину, которую видел в первую ночь моего приезда в Неаполь. Я не знал, что мне делать: во всяком случае, выйти вон было бы смешно, и могло только возбудить подозрение моих гонителей. Между тем

мой товарищ выходил из себя от восхищения; все рулады певицы он повторял всем своим телом, а перед каденцею мало-помалу спускал с себя башмаки, складывал руки, удерживал дыхание, дрожал как в лихорадке и в конце трели в полном беспамятстве вскакивал с места без башмаков, выкрикивал несколько междометий и бил в ладоши изо всей силы. Во время речитатива он успокоивался и снова очень хладнокровно обращался ко мне с вопросами: много ли шуб носят в России? есть ли у меня собрание медалей, как мне нравится *frutti di mare*?¹ Но едва начиналась новая ария примадонны, снова Беневоло выходил из себя, спускал башмаки и бил в ладоши. Во всякое другое время меня, холодного северного жителя, очень бы забавляло это превращение, тем более что подобные судорожные движения я замечал во многих других местах залы. Но теперь много развлекало меня мое странное свидание с примадонною; во мне боролись желание спросить об ней что-нибудь у нового знакомого и страх, не будет ли это нарушением моей клятвы; мне показалось даже, что примадонна узнала меня и что часто ее глаза невольно поворачивались в мою сторону. Я почти не смел смотреть на нее: сцена суда с ее гробовою музыкой так живо напомнила мне мои приключения, что я почти задохнулся.

Беневоло посматривал на меня исподлобья, однако ж не сказал ни слова. Я не мог наверное узнать, заметил ли он мое смущение, или нет. Несмотря на то, невольное чувство привлекало меня к синьоре Грандини; она была прекрасна на сцене; несколько резкие черты лица ее смягчались отдалением; в голосе было что-то пронизательное, что-то трогательное — он не был совершенно чист и ясен, но звучен и мягок, как будто подернут бархатом. Однако ж, признаюсь, я очень был рад, когда занавес опустился.

На другой день, проснувшись, я увидел на своем столе записку, но написанную новою для меня рукою:

«Люди, желающие вам добра, не советуют вам ходить в театр Сан-Карло».

Признаюсь, это меня взорвало: я видел себя привязанным к интриге, которая накладывала цепь на все мои поступки и от которой я никак не мог освободиться. В тот же день я решился оставить Неаполь. Я еще был в размышлении о своих планах, когда у дверей моих услышал, что кто-то трепещущим голосом напевает *Cerca un libo, dove sicuro...* Дверь отворилась: то был Беневоло. Он тотчас подскочил ко мне с расспросами, — как провел я ночь? как мне понравился театр Сан-Карло? пил ли я шоколад? что я думаю о Донизетти, о Беллини? — и перемешивал свои вопросы восклицаниями *stupendo, stupenda!*..² нельзя было догадаться, к чему они относились, к музыке, к Донизетти, к [Беллини](#) или к шоколаду.

Я не успевал отвечать на его вопросы; да Амброзио и не дожидался ответа; он принес мне целую кучу монет, медалей, показывал мне каждую поодиночке, восхищаясь над каждою, и предлагал мне менять их на русские деньги, какие у меня случились. Это было искусное приглашение купить у него некоторые из его редкостей. Чтоб отвязаться от докучливого старика, я променял несколько десятков русских рублевиков, бывших со мною, на его редкости и поспешил отправиться к посланнику за паспортом и моими другими бумагами. В посольстве мне сказали, что прежде нежели мне выдадут паспорт, посольству необходимо будет снестись с неаполитанским правительством: это должно было замедлить мой отъезд на несколько дней.

С тех пор я не выходил более никуда. Беневоло не забывал посещать меня; каждый день приносил он мне по-прежнему медали, камеи и забавлял меня, снимая с них слепки с величайшим проворством. Однажды он мне принес позеленевший и почти стертый от времени русский рубль и много и долго говорил мне об его древности, о

¹ устрицы (итал.).

² изумительно, великолепно (итал.).

своих догадках, каким образом за триста лет перед этим мог он быть занесен в Италию. Я прекратил его диссертацию замечанием, что за триста лет не существовало в России круглой монеты. Это замечание его несколько смутило. В другой раз принес он мне несколько мешков разных медалей и просил меня на несколько времени оставить их у меня в комнате, говоря, что он имеет подозрение на некоторых любителей древности, которые хотят украсть у него его сокровища и которые, верно, не пойдут искать их в моей комнате, тем больше что я никуда не выхожу от себя. Я позволил делать что было ему угодно, чтоб только от него отвязаться.

Наконец, к величайшей радости, я получил известие от одного из моих друзей, служащих при посольстве, что я завтра могу получить мой паспорт. Я не хотел медлить ни минуты, нанял веттурина и принялся собирать мой небольшой гардероб: в этом занятии застал меня Беневоло: «Вы уже собираетесь! Куда вы едете? верно, в Рим? Не забудьте остановиться в Милане в Амвросиевской библиотеке... Там много редкостей... на театре новая певица... в трактире Albergo reale прекрасный стол», — и проч., и проч. Я продолжал мои занятия, отвечая старику одними междометиями. Не знаю как, перебирая бритвенный ящик, я выронил мой таинственный перстень; он покатился по полу; я нагнулся и столкнулся с Беневоло; он было также протянул руку за перстнем, и когда я, не показывая моей редкости, сжал ее между пальцами, Беневоло побледнел. В жизнь мою не забуду его фигуру в эту минуту; он весь пошел ходенем, локти его приросли к бокам, и между тем он махал обеими руками, подымал то одну ногу, то другую, раскрывал рот, мигал глазами и вытягивал шею.

— Продайте мне этот перстень, — говорил он мне, задыхаясь.

— Нет, не продам, — отвечал я.

— Позвольте мне по крайней мере снять с него слепок.

— И этого не могу.

— Покажите мне по крайней мере его.

— И этого не могу. Приезжайте за ним в Россию, тогда, пожалуй, я вам даже подарю его.

— В Россию, в Россию! — сказал Беневоло, — это невозможно. Да почему вы здесь не можете мне его показать? Разве к вашему перстню привязана какая-нибудь тайна?

— Да! тайна, — отвечал я.

— Хороша тайна! — вскричал Беневоло. — Хотите ли, я расскажу вам, что изображено на вашем перстне: на нем сосуд, змея с львиною головою, мумия с птичьим носом, кругом слова, Уао, не так ли?

— Может быть; но все-таки я вам не могу показать перстня.

— Это странно! — говорил Беневоло, прыгая по комнате, — очень странно! чрезвычайно как странно!.. Так вы не хотите дать мне перстня? — сказал он после некоторого молчания.

— Не могу, — отвечал я с некоторою досадою.

— Решительно не хотите?

— Решительно.

— Нет, скажите правду! Вы в самом деле никак не можете показать мне перстня?

Я отворотился от него молча.

Неотвязчивый старик почел это знаком нерешимости: он забежал ко мне с другой стороны, упер локти в бока и проговорил мне с видом превеличайшего подобострастия:

— Вам, кажется, можно показать мне перстень.

— Вы выводите меня из терпения, — сказал я ему наконец грозным голосом и притопнув ногой.

Беневоло сделал несколько прыжков по комнате, вышел и уже более ко мне не являлся.

Вечеру, когда я ложился спать; в сладкой надежде выехать наконец из этого несчастного для меня города, трактирщик снова явился ко мне с запискою.

— Что еще? — спросил я с гневом, — кто тебе отдал эту записку?

— Незнакомый мне человек, — отвечал он. Содержание записки имело все право рассердить меня, в ней были только следующие слова:

«Друзья ваши советуют вам, если вы дорожите своею жизнью, не выезжайте из Неаполя в продолжение некоторого времени».

Я проклял моих друзей от чистого сердца. Сперва я подумал, что это была шутка Беневоло; но почерк руки был одинаковый с тою запискою, которую я получил еще до знакомства с ним; однако ж, несмотря ни на что, я решился во что бы то ни стало выехать из Неаполя и даже из Италии, которая уже мне опротивела.

На другой день я поспешил за моим паспортом, но едва вошел в канцелярию посланника, меня тотчас позвали к нему в кабинет. Посланник принял меня с таким видом, который не на шутку испугал меня.

— К величайшему моему сожалению, — сказал он, — я не могу вам выдать вашего паспорта. Напротив, я должен пригласить вас явиться в здешний суд. Ваше дело запуталось новыми обстоятельствами; оно так странно, что я не могу верить вашему в нем участию, и вместе так важно, что не могу отказать здешнему правительству. Вам, может быть, уже известно, что одна из певиц здешнего театра, Евлалия Грандини пропала без вести. Она была очень любима здешнею публикою, и общее беспокойство об ее участи заставляет полицию принимать строжайшие меры.

— Я так мало выходил из дому, что даже в первый раз слышу об этом.

— Однако ж у вас видели кольцо или перстень, принадлежавший этой актрисе, — сказал мне посланник, устремив на меня проницательный взор.

Я невольно смутился, однако ж, собрав все свои силы, решился открыть посланнику ту часть тайны, в сохранении которой я не был обязан честным словом.

— Действительно, — сказал я, — я получил какой-то перстень, но не знаю от кого.

— С какими-то мистическими знаками и с надписью Уао? — сказал посланник.

— Точно так, — отвечал я.

— Это очень странно; по бумагам я вижу, что этот перстень принадлежал какому-то тайному обществу, которое очень дорожило им и которого члены подвергаются теперь преследованиям правительства.

Я объяснил посланнику, каким образом достался мне этот перстень.

— Действительно, — сказал он мне, — здешнее правительство предполагает какую-то связь между этим обстоятельством и похищением Грандини, как равно и с умерщвлением полицейского офицера. Этого мало, — продолжал посланник — вас обвиняют в связи с каким-то Амброзио Беневоло, подозреваемым в делании фальшивой монеты.

Руки у меня опустились.

— Я уверен, — продолжал посланник, — что вы оправдаетесь от взводимых на вас обвинений, но долг мой заставляет меня выдать вас неаполитанскому правительству. Не пеняйте на меня за это; поставьте самого себя на мое место, — вы бы поступили так же. Я имею все нравственное убеждение в вашей невинности, но юридического, благодаря вашей скромности, никакого.

Я благодарил посланника за его истинно отеческое во мне участие, но с твердостью повторил, что я лучше подвергнусь всем возможным неприятностям, нежели изменю торжественно данному мной честному слову.

Посланник, как я уже сказал, был человек благородный; он совершенно понял меня, обещал употребить все с своей стороны, чтобы вывести меня из моего неприятного положения, и засим... предложил мне снова сообщество жандармского офицера.

Я не буду более вам скучать рассказом о моих переговорах с допрашивавшими меня судьями: это было бы повторение почти тех же обстоятельств, которые вы уже знаете; прибавлю только, что все расспросы нисколько не объяснили мне самому моей тайны.

Ясно было одно, что дело хотели кончить ничем: все предложенные мне вопросы были как будто лишь приготовительные, неопределенные, поверхностные, иногда странные до невероятности; меня расспрашивали о всех мелочах моей частной жизни, в котором часу я встаю, что я делаю поутру, что вечером, знаю ли я древние языки, умею ли рисовать... Из всего этого я, однако же, понял, что Беневоло был на меня доносчиком: но каким образом он сам попал в обвиненные? Между тем прошло более трех недель; каждый день я приготовлялся к чему-нибудь решительному, и наконец, к несказанному моему удовольствию и удивлению, объявили мне, что я свободен. Мне возвратили мои вещи, которые были у меня забраны в продолжение процесса, за исключением перстня; об нем я мало сожалел, и, что всего для меня было усладительней, я получил наконец позволение выехать на Неаполя.

С тех пор я почти год проезжал по Италии совершенно спокойно, и наконец, посреди рассеянной жизни путешественника, почти забыл о моем неаполитанском приключении.

Однажды в Венеции, на бале у графини Грациани, я увидел женщину в голубом платье, которая промелькнула мимо меня в другом контрадансе. Лицо ее мне показалось знакомым: я спросил об ее имени у танцевавшей со мной дамы. Эти предосторожности необходимы для путешественника: так много встречаешь лиц, так быстро являются и исчезают они перед глазами, что всегда рискуешь заговорить с незнакомою дамой и пройти мимо той, у которой бывал в доме.

— О, это знаменитая графиня Лукенсини!

— Знаменитая! Почему? — спросил я.

— Это женщина большого характера, — отвечала она. — Берегитесь попасть в ее сети. Она пятнадцати лет умела выйти замуж за своего учителя; между тем обещать свою руку другому молодому человеку; в продолжение шести лет скрывать свой брак; обмануть опекуна; наконец развестись с мужем и выйти за другого и все носить имя своего мужа.

— Но как же? — сказал я моей даме, — разве ее учителем был граф Лукенсини?

— Так точно, — отвечала мне дама. — Граф Лукенсини был сын того Лукенсини, который, как, может быть, вы слышали, погиб на эшафоте; имение его было конфисковано, и сын принужден был давать уроки.

— Нельзя, однако ж, обвинять бедную графиню, — сказала другая дама, вслушавшись в наш разговор, — мать ее была женщина странного нрава, который сделался несноснее от ее беспрестанной болезни; бедная графиня до самой ее смерти принуждена была жить совершенною затворницею; единственные люди, которых она видела, были ее учителя: мудрено ли, что она влюбилась в того из них, который был молод, прекрасен и в тесные сношения учителя с ученицею умел внести все очарования светского человека? Он влюбился в нее, она в него. Но как мать никогда бы не согласилась на брак ее с таким человеком, то что удивительного, что она решилась обвенчаться с ним тайно?

Контраданс кончился; я раскланялся с моей дамой и невольно обратил глаза на графиню, чтоб вспомнить, кого она мне напоминала. Сверх того, взор мужчины всегда невольно останавливается на женщине, имевшей довольно твердости духа, чтоб презреть мнение общества: она возбуждает любопытство, смешанное с каким-то невольным уважением. Ум невольно вспоминает о борьбе, которую должна была претерпеть эта женщина с самой собою и со всем ее окружающим, а сердце воображает те стра-

дания, которые пришлось ей перенести, чтоб избавиться от других, еще жесточайших страданий.

Все эти мысли толпились в голове моей, когда я смотрел на графиню, и мне показалось, что я обратил на себя ее внимание. Действительно, она также стала всматриваться в меня, и когда я проходил мимо ее, она мне сказала: «Signore!...»¹

Я остановился: голос ее поразил меня.

— Вы, кажется, не узнаете меня? — продолжала она. Я отступил шаг назад, ибо мне показалось, что передо мною стояла синьора Грандини. Минуты волнения, в которые я ее видел, вместе с прической, — тогда только дамы начали поднимать волосы вверх, — помешала мне узнать ее в первое мгновение.

— Я не знаю, — сказал я, — должен ли я узнавать вас.

— О, будьте спокойны! — отвечала мне графиня с улыбкою. — Те, которые наложили на вас страшную клятву, почти не существуют. Я имею полное право разрешить вас от всех ваших клятв. Если хотите узнать больше, то приезжайте ко мне завтра вечером. Надобно, чтоб вы были награждены за то унижительное положение, в котором вы находились по моей милости. Кстати, — продолжала она, — скажите, пригодился ли вам мой перстень?

— Ваш перстень? с мистическими знаками? остался в руках неаполитанского правительства.

— Верно, этот бездельник Беневоло им воспользовался.

— Так вы знали Беневоло?

— Беневоло? — повторила она с улыбкой. — Завтра вам все объяснится.

На другой день, в назначенный час, я поспешил к графине Лукенсини и сначала был очень удивлен, когда швейцар сказал мне, что графиня не принимает; но когда я назвал себя, швейцар немедленно позвонил в колокольчик, и двери отворились предо мной. Я прошел ряд великолепных комнат, роскошно и со вкусом убранных. Графиня ожидала меня в павильоне, находившемся в конце дома, и которого балкон выходил с одной стороны на Canal Grande, а с другой на пустую площадку. Она сидела в легком кисейном платье на диване, окруженном цветущими померанцами, и показала мне место подле себя.

— Вы должны знать, что вы мой избавитель, — сказала она.

— Ваш избавитель? — повторил я.

— Да; без вас я бы, может быть, должна была распрощаться с жизнью. Вы, сами того не зная, развязали узел в моем существовании. Я думаю, уже вам рассказали мою историю прежде. Ее все рассказывают с разными нелепыми прибавлениями. Я не буду оправдывать себя перед вами. Скажу вам только одно: мне нельзя было не выйти замуж за Лукенсини, потому что меня преследовал тот самый Беневоло, которого вы знаете. Пользуясь болезнью моей матери, живя в нашем доме, где он занимал должность сначала учителя, потом майордома, Амброзио не давал мне минуты покоя. Лукенсини был молод и прекрасен. Беневоло был почти всегда таким, как вы его видели. Я предпочла первого. Долго мне рассказывать вам мою историю; на моего тайного мужа пало подозрение, которому причиною были связи его отца. Желая открыть себе какую-нибудь дорогу, он после женитьбы отправился искать счастья в России. На место его явился ко мне новый обожатель: мой дальний родственник Леонардо Амати. Вам уж, верно, рассказывали, что я обещала ему выйти за него замуж. Это правда; но вот как это случилось. С помощью хитрого своего отца и матушкина духовника он успел до того довести мою матушку физически и нравственно расстроенную, что она при последнем издыхании потребовала от меня, чтоб я вышла за Леонардо. В минуту горести я ей все обещала; матушка скончалась, и в оставленном ею завещании она

¹ Господин! (итал.)

назначила Венчемио Амати, отца Леонардова, опекуном надо мною и над всем моим огромным имением. После первой горести, произведенной во мне кончиной матушки, Леонардо стал мне напоминать о моем обещании. Я решительно объявила, что уже замужем. Это открытие взбесило Леонардо и отца его, которые надеялись посредством брака навсегда завладеть моим имением; они употребили все возможные средства, чтобы заставить меня расторгнуть брак с Лукенсини. Одаренная от природы характером решительным, я убежала из Венеции, переменила имя, и синьора Грандини явилась на разных театрах Италии, — при шуме рукоплесканий и окруженная толпою обожателей. Большие деньги, которые я получала моим талантом, доставляли мне средства уничтожать все происки Амати для расторжения моего брака. Между тем мой род жизни мне так понравился, что я скоро забыла моего мужа; да и он, кажется, забыл обо мне. Мой опекун после тщетных исканий нашел меня наконец в Неаполе: я тогда еще не достигла до совершеннолетия, и опекун сохранил еще всю власть надо мною; он выхлопотал ложное свидетельство о кончине моего мужа и настоятельно требовал исполнения моего обещания. Я знала, что это неправда, потому что почти в то же время получила письмо от графа, в котором он уведомлял меня, что наконец ему удалось уверить правительство в своей невинности и что он возвращается в Италию. Я притворилась, будто верю моим гонителям, надела на себя черное платье вдовы, позволила обить мою комнату черным сукном — для того только, чтоб выиграть время, потому что уже недолго оставалось до моего совершеннолетия; но хитрый Амати угадал мое притворство и узнал в то же время, что Лукенсини находился на первом пароходе, который должен был приехать в Неаполь. Для Амати это была минута решительная; он видел, что я ускользала от него, но не хотел заставить меня торжествовать без отмищенья; может быть, он надеялся, что по смерти мужа я буду к нему благосклоннее; может быть, также, хотел он испугать нас обоих и дать нам на выбор смерть или замужество с Леонардом. Я никогда не могла понять хорошо его намерения: может, это было просто внушение его дикого калабрского характера. Вам известно средство, которое он употребил для достижения своей цели. Отдаленный дом, в котором мы жили, подкупленные слуги — все, казалось, должно было им способствовать, но провидение употребило вас средством для уничтожения этого замысла. Когда после нашего с вами свидания он увез вас с собою, я решилась во что бы то ни стало выйти из-под власти моих мучителей, так как мое имение было главнейшею причиною их преследования, я воспользовалась смущением старого Амати и предложила ему вроде выкупа все мое имение. Он без труда согласился. Недоставало двух дней до моего совершеннолетия, и я подписала передним числом бумагу, в которой, изъявив благодарность Амати за прекрасное управление моим имением, объявляла себя ему должною в значительной сумме денег. Между тем возвратился Леонардо в изодранном платье, весь мокрый и в величайшем волнении. Он согласился на все. Я тогда заметила в нем что-то странное, но еще не могла узнать, что с ним случилось, потому что в ту же минуту оставила их и явилась снова на сцене. Уже впоследствии, когда разнесся слух об убийстве полицейского чиновника, мне пришла в голову мысль, что в этом случае должен был участвовать Леонардо. Действительно, месяц спустя один из слуг его объявил все правительству. Леонардо погиб на эшафоте, отец его умер с отчаяния. Полицейский служитель попал в это приключение по несчастному случаю. В нашей стороне были разные воровства; заметив также в лодке Леонардо что-то подозрительное, полицейский чиновник, увлекаемый ревностью к своему ремеслу, решился скрыться под парусом, чтоб узнать что-нибудь верное. Все это я узнала впоследствии, когда до меня дошли слухи об арестовании Леонардо: не имея чем жить, я снова вступила на театр в Неаполе, под именем Грандини.

Графиня остановилась.

— Я вам рассказала, — продолжала она, — все, что было любопытного для вас в моей истории. Прибавлю вам только то, что мое имение снова возвратилось ко мне, мы свиделись с графом и оба заметили друг в друге такое равнодушие, что без труда решились расстаться. Он хлопочет теперь в Риме об уничтожении нашего брака.

— Благодарю вас, графиня, но для меня в истории осталось еще лицо непонятное — Беневоло.

— Беневоло! — повторила с важным видом графиня, — на это ничего не могу вам сказать в сию минуту. Если вы хотите что-нибудь узнать об нем, то выйдите из моего дома, пройдите по всем комнатам, сядьте в лодку, возвратитесь сюда этим переулком и войдите ко мне через этот балкон: вам будет спущена лестница.

Я был в нерешимости; но графиня так улыбнулась, с таким видом подала мне руку, что я не мог отказать ей.

Я исполнил в точности все ее приказания; но признаюсь, сердце мое было не совсем на месте, когда я стал взбираться по веревочной лестнице, спущенной мне с балкона. Я застал графиню в том же легком платье; она встретила меня с улыбкою и показала мне дверь небольшого кабинета. Вошедши в него, я увидел все принадлежности мужского ночного туалета и не замедлил ими воспользоваться. Когда я выглянул из двери, графиня захохотала и показала мне место на диване возле себя, позвонила в колокольчик и положила на стул пару пистолетов.

— Что это значит? — спросил я у нее.

— Это необходимо, — сказала мне графиня важным тоном.

Я задумался и невольно осмотрел курки пистолетов. Дверь отворилась, Беневоло вбежал в комнату.

— Амвросио! — сказала ему графиня, — знаешь ли ты этого молодого человека?

Беневоло затрясся всем телом.

— Ты видишь, Амвросио, я оставила одного мужа, отказалась от другого, вот у меня третий, а все не ты! Бедный Амвросио! Но теперь дело не о том: ты знаешь все, что ты сделал против этого молодого человека; он требует у меня отмищения; твоя последняя минута наступила, — признавайся. Допрашивайте его, граф, — сказала она, обратившись ко мне.

Я не мог смотреть без смеха на Беневоло, но с тем вместе он возбуждал во мне невольное сожаление. Графиня заметила во мне это чувство и сказала:

— О, как вы добры, граф, вы еще об нем жалеете! Вы не знаете, что он за человек! Этого мало, что он осмелился влюбиться в меня, — нет! взбешенный неудачею, он перешел на сторону моих врагов, он помогал Амати, он был от них подослан к вам шпионом, писал к вам записки; он препятствовал мне видеться с вами, ибо Леонардо боялся, чтоб наше свидание не открыло его преступления. Этого мало: когда он узнал, что у вас находится мой перстень, которого он долгое время от меня добивался, он решился взвести на вас нелепый донос в моем похищении, чтоб между судейскими интригами воспользоваться этой редкостью... Ведь вы верно знаете, — он любитель древностей?

— Он, кажется, — заметил я, — больше любитель денег, нежели древностей: он сам был остановлен за делание фальшивой монеты.

— О нет! — сказала графиня, — на это у него и недостало бы духа. Правда, он делал фальшивую монету, только не новую, а древнюю; он занимался самым невинным ремеслом — выдумывал небывалых царей или делал подражания редким медалям и приводил в отчаяние антиквариев.

Амвросио трясся всем телом и только изредка проговаривал:

— Pregiottissima signora!.. Signor conte! ¹

¹ Наидостойнейшая синьора! Синьор граф! (итал.)

Наконец, когда графиня замолчала, он вскричал со слезами на глазах:

— Все это правда, совершенная правда; но вспомните, что я спас жизнь русского графа.

— Да, это правда. Помните лицо, которое выглянуло из-за двери в первое наше свидание: за это, кажется, можно простить его, граф, — как вы думаете?

Мне так был жалок бедный Амвросио, что я стал просить графиню окончить эту шутку.

— Благодарю графа и ступай вон, — сказала синьора, — а завтра поутру сочини мне сонет на это приключение.

Беневоло бросился к ней в ноги и выскочил из комнаты.

— Он добрый старик, — продолжала графиня, обратясь ко мне, — то есть пока его держишь в руках. Он до сих пор влюблен в меня без памяти; я сама привыкла к нему, как к постельной собачке. Он беспрестанно рисует мои силуэты, пишет в честь мне стихи и бывает вне себя от восхищения, когда я ему позволю поцеловать мои пальчик. Я хотела, граф, доставить вам это маленькое удовольствие, ибо никогда бы не простила себе, чтоб за меня благородный человек подвергся оскорблению и остался неотмщенным. Если б Леонардо был жив, я бы непременно доставила вам с ним свидание; но это, к сожалению, невозможно. Теперь ваша роль кончилась. Прощайте!

— Как! — сказал я графине, — мне опять идти одеваться? Опять спускаться с балкона в эту темную, дождливую ночь?..

Необойденный дом

(Древнее сказание о калике перехожей и о некоем старце)

Посв. В. А. Жуковскому

Давным-давно, в те годы, которых и деды не запомнят, на заре ранней, утренней шла путем-дорогою **калика перехожая**; спешила она в Заринский монастырь на богомолье, родителей помянуть, чудотворным иконам поклониться. Недолг был путь — всего-то верст десять, да старушка-то уж не та, что бывало в молодые лета; идет-идет да приостановится: то дух занимает, то колени подгибаются. Вот слышит она, в монастыре звонят уж к заутрене, «Ахти, — сказала она, — замешкалась я, окаянная; не успеть мне к заутрене, хоть бы Бог привел **часов**-то не пропустить». Смотрит — а к лесу идет тропинка прямо на монастырь, «Постой-ка, — подумала старушка, — дай Бог память: я, кажись, в молодые лета по той по тропинке хаживала, ведь ею вдвое ближе, чем обходом идти». И старушка своротила в лес на хожалую тропинку. Так и обдало нашу калику смолистым запахом сосен, и силы ее подкрепились.

Красное солнышко на восходе играет по прогалинам, птицы очнулись и кормят детенышей, медвяная роса каплет с ветвей; старушка идет да идет; благовест ближе да ближе, а лес все гуще да гуще. Идет она час, идет и другой, а все не видать конца леса; вот и благовест перестал, и тени от деревьев сделались короче — а все не может старушка выйти из леса; оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого, а у старушки уже ноги едва двигаются и в горле пересохло; жажда томит, в глазах темнеет; но все идет она, едва шаг за шагом переступает; вдруг пахнуло на нее живым дымом, а вот невдалеке и лес проредел; старушка перекрестилась, закусила стебелек щавеля, и с того у калики словно силы прибавилось. Прошла с десятков шагов — перед нею поляна; посреди поляны дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовы ворота на запоре — и не

видать ни души христианской; у ворот скамеечка; калика присела и пригорюнилась. Вот залаяла в подворотне цепная собака, калитка отворилась, и вышел малой лет пятнадцати, подстрижен в кружок, в красной рубахе, ремнем подпоясан; он искоса посмотрел на старуху, отряхнул волосы, подпер боки руками и молвил:

— А кого тебе здесь надобно, старушонка?

— Ах, родимый; никого мне не надобно; шла я на богомолье в монастырь да заблудилась и из сил выбилась. Не дай умереть без покаяния, дай водицы испить.

Молодой малый поглядел в раздумье на старуху, еще раз встряхнул головою, вошел в калитку и чрез минуту возвратился; в одной руке нес он ковш с **ячным** квасом, в другой — краюху свежего хлеба с **бузою**.

Старушка кваску прихлебнула, хлебцем закусилась и стала как встрепанная. «Спасибо тебе, добрый человек, — сказала она, — душеньку отвел. Бог тебя наградит, что старуху призрел».

— Ты, однако же, не долго здесь калякай. — Промолвил малой в красной рубахе. — Отдохнула и ступай своею дорогою; а то неравно хозяева наедут — несдобровать тебе, старушонка.

— Да кто же они такие, родимой?

— Да у нас здесь, бабушка, — отвечал малой улыбаясь, — веселы люди живут; зелено вино пьют, в **зернь** играют, красных девок целуют, людей режут.

— Ах, родимый, родимый! Никола тебе навстречу — как же ты с такими людьми живешь?

— Э, бабушка, не твое дело. Ступай отсюда, пока жива; говорят тебе, наедут сюда хозяева, увидят, что чужие очи наш притон обозрили, — не спустят тебе. И я-то уж так сжалился над тобою оттого, что покойницу бабушку напомнила, которая, бывало, меня молодого на руках носила да пряником кормила... Ну, ступай же... вот этой тропинкой прямо уткнешься на монастырь.

— Иду, иду, родимый, кто бы ты ни был, спасибо тебе... награди тебя Бог, вразуми тебя Господь.

И опять пошла старушка путем-дорогою, идет час, идет и другой. «Не поспела к заутрене, — думает, — не успею и к ранней обедне; авось-лико Бог приведет хоть у поздней помолиться».

Вот и солнце поднялось выше, роса обсохла, по лесу подымается душистый пар донника и божьей зари, рой мошек жужжит и кружится по прогалинам. А старушка идет да идет. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще.

Идет она час, идет и другой; уже почти нет теней от деревьев, и нет конца леса. Оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А старушка идет да идет, — вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава Богу, — думает, — насилу дотащишься!» Собрала последние силы... смотрит, — а пред ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовы ворота на запоре — и не видать ни души христианской.

— Ах я, окаянная, опять заблудилась, опять к тому же месту пришла.

Делать нечего; старушка присела в тени и пригорюнилась; цепная собака залаяла в подворотню; калитка отворилась, и вышел парень лет тридцати пяти, в красной рубахе, ремнем подпоясан.

— А, здорово, старушонка, подобру ли, поздорову поживаешь; сколько лет, сколько зим с тобой не видались, а все я тебя тотчас узнал, ты ни на волос не переменилась... как была, так и есть!

— Не запомню, родимый, Никола тебе навстречу; а, кажись, я тебя сроду не видывала.

— Эх, старушка, ты верно уж из памяти начала выживать; помнишь, лет двадцать тому назад, ты к заутрене шла да заблудилась, а я еще тебя хлебом кормил да дорогу тебе показывал; я как теперь на тебя смотрю.

— Что ты, родимый, Никола тебе навстречу; была я здесь, знаю, выходил ко мне малой лет пятнадцати и, спасибо ему, хлебом накормил.

— Да то ведь я-то и был, старушонка.

— И, что ты, родимой! это было сегодня поутру, и выходил ко мне малый лет пятнадцати, а ты, Бог тебя помилуй, уже на возрасте.

— И, старушка, ты уж из ума начала выживать; какое поутру, говорят тебе, уж лет двадцать тому ты сюда приходила, вот на этой скамеечке сидела; помнишь?

— Как не помнить, родимой, только вишь ты, было это сегодня поутру, а дотелева здесь я никогда не бывала.

— Ну, я вижу, с тобой до бела света не сговоришь, совсем из памяти выжила... Посмотрю я на тебя, измучилась ты, старушонка, пот с тебя так градом и катит, дай вынесу тебе рушник обтереться.

Так примолвил парень в красной рубаше, вошел в калитку и скоро возвратился оттуда с полотенцем, вышитый красною белью.

Едва старушка взяла его в руки, как вскрикнула:

— А откуда, родимой, у тебя это полотенце?

— Откуда бы ни было, — отвечал парень сердито, — знай утирайся.

— Да ведь это полотенце-то я шила сынишке на дорогу.

— Сынишке, — повторил парень. — А какой он из себя был?

— Ах, мой сынишка славный малой... да разве ты знаешь его?

— Говорят тебе: каков он из себя был?

— Малой лет пятнадцати, светлорусый, волосы в кудряшках, в синем зипуне, в поярковой шляпе.

— Светлорусый, волосы в кудряшках? — повторил мрачно парень в красной рубаше. — Ну, жаль, старуха, что не знал.

— Да что ж с ним случилось, родимый? — сказала старушка испугавшись.

— Да так, ничего, — отвечал парень. — Запиши его в поминанье... его в живых больше нет.

Наша калика перехожая так и ударилась об землю и зарыдала.

— Ну, полно рюмиться-то, мертвого не воротишь.

Старушка очнулась.

— Как же ты знаешь, родимой, что его в живых не стало, полно, правда ли это?

— Еще правда ли? еще знаешь ли? Вольно тебе было его на святость воспитать: заманили мы его сюда; видим, малой славной, думали, будет из него путь; говорим ему: будь нашего сукна **епанча**, а он и руками и ногами, заартачился...

— Ну, так что ж, батюшка?

— Ну, что ж? вестимо дело, **карачун** ему дали, да и пустили в Волгу окуней ловить.

Старушка снова зарыдала.

— Скажи, родимой, хоть с покаянием ли он Богу душу отдал?

— Ну, вестимо нам было к нему не попа приводить, а молиться-то он молился, сердечной. Ну да полно рюмить, убирайся отсюда, не то наши наедут, и тебе то же будет, что и сынишке твоему.

— Божья воля, отец мой; покажи только дорогу, куда до пустыни дойти; сына помянуть, за тебя Богу помолиться.

— За меня? Полно обманывать, я чай, проклинать меня будешь.

— Нет, родимый! что проклинать! буду молиться о спасении грешной души твоей.

Парень задумался.

— Странна ты, старуха, — сказал он после некоторого молчания. — Сколько я душ погубил, молодых и старых, всякого пола и возраста, и рука не дрогла, а вот каждое твое слово как ножом душу режет, и рука на тебя не поднимается... ну, убирайся отсюда, пока не осерчал, ступай этой тропинкой, так прямо и уткнешься на монастырь.

И старушка опять идет путем-дорогою, рукавом слезинки отирает.

— Наказал меня Бог, — говорит, — не поспела, окаянная, ни к заутрене, ни к обедне, авось-либо Бог приведет за вечерней помолиться.

Вот идет она, идет час, идет и другой; а в полях стада убрались, посередь леса птицы прикорнули, выходила туча грозовая со частым дождичком; и опять все очнулось; стада голос дали, птицы вспорхнули; вот слышался в пúстыни и благовест к вечерне. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще.

Идет старушка час, идет и другой; вот и благовест перестал, солнце ниже спустилось, и далеко, далеко потянулася тень от деревьев, — а все не видать конца лесу. Оглядывается калика: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А калика идет да идет — вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава Богу, — говорит калика переходящая, — насилу-то дотащилась!» Собрала последние силы, смотрит — перед ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями; тесовы ворота на запоре и не видать ни души христианской.

— Ах, прости Господи, — сказала старушка, — опять я на то же место пришла, окаянная, а уж и сил нет больше идти; не попускает Бог до пустыни дойти; буди Твоя святая воля.

Старушка села под дерево и пригорюнилась.

Собака залаяла в подворотню, калитка отворилась, выходит старик лет шестидесяти, седой как лунь, на клюку опирается.

— А, старушонка, — сказал он, — подобру ли, поздорову ли ты живешь? сколько лет, сколько зим с тобой не видались. Да ты, видно, века не изживаешь; какая была, так и есть, нисколько не переменилась; а ведь мы лет двадцать с тобой не видались.

— Кажись, я тебя, родимый, сроду не видывала, — отвечала старуха. — Была я здесь, и не один раз, да только сегодня поутру, да в полдень; выходил ко мне парень в красной рубахе и сказал мне горькую весточку.

— Да это я самый и был; помнишь, рушник тебе подавал; только будет тому лет десятка два и более; правда, я с той поры много переменился; кажись, и не стар я летами, а уж куда похирел; буйная молодецкая жизнь загубила; да как же ты-то нисколько не переменилась, вот как теперь на тебя смотрю?

— Ну уж я и ума не приложу, родимой; из памяти, что ли, я в самом деле выжила; знаю только то, что была я здесь поутру, а тебя сроду не видывала.

— Подлинно так, — сказал старик, — и я ничего не понимаю; что-то тут чудное деется; вот уж двадцать лет тому ты мне то же говорила; много с той поры воды утекло, много грехов я на душу свою положил! однако нечего здесь долго толковать; наши наедут, несдобровать тебе, убирайся отсюда, покуда жива.

— Нет, родимой, уж как хочешь, не пойду я отсюда, ноги не держут.

— Что ты, неразумная, да ведь наедут товарищи — убьют тебя.

— Да будет воля божия.

— Что ж ты, небось, смерти не боишься?

— Да чего ж ее бояться? Придет час и воля божия.

— Так ты смерти не боишься, — повторил старик и задумался. — Ну, — прибавил он помолчавши, — я так смерти боюсь.

— Молись Богу, родимой, Никола тебе навстречу, — так и не будешь смерти бояться.

— Мне молиться? Да неужли Бог услышит мою молитву?

— Вестимо, что услышит, когда помолишься с покаянием.

— Да ты знаешь ли, старушонка, с кем ты говоришь; если б ты знала да ведала — сколько я душ погубил неповинных; нет беззакония, которого бы я не сделал; нет греха, в котором бы не окунулся, — и ты думаешь, что меня Бог помилует?..

— Покайся, Бог помилует.

— Поздно, старушка! уж и сна у меня нет, только заведу глаза, как и вижу — ко мне тянутся кровавые руки; вижу, как теперь тебя вижу, посинелые лица, помертвевшие очи; а в ушах-то и крик, и визг, и стон, и проклятия; мне ли молиться, старушка! у Господа столько и милости не достанет.

— Молись, говорю тебе, у Бога милости много, и не перечешь, родимый.

Старик задумался.

— Знаешь ли, что тебе скажу? — проговорил он. — Скажу тебе правду истинную: я часто о тебе вспоминал; приходили мне на память твои речи; помнишь, как ты о младом обо мне молилась, чтобы Бог вразумил меня; помнишь, как обещала молиться, когда я сына твоего убил; я ничего не запамятовал, и все мне хотелось потолковать с тобой о душе моей; ах, черна она, родимая, как смоль черная, и горяча она, как кровь теплая; ну, слушай — здесь тебе сидеть не годится, наедут, увидят; пойдем в избу, там я тебе найду укромное место.

Он подал руку старушке, она оперлась на его клюку и потащилась в дом; в сенях старик приподнял половицу.

— Ступай вниз, — сказал он, — да держись за веревку, не то споткнешься.

Старушка сошла в подполицу, темную, темную; свет проходил только сверху в отдушины; по стенам стояли ларцы, сундуки, скринки, баулы разного рода, всякая посуда; по стенам развешаны ножи, ружья и всякого платья несметное множество.

— Это наша кладовая, — сказал старик, — не даром она нам досталась.

Старушка творила молитву и шла далее. Прошла одну горницу, другую, третью; видит, все по порядку: в одной скарб домашний, в другой мужское платье, в третьей женское, камни самоцветные, жемчуг, серьги и ожерелья.

— Душно здесь что-то, дедушка, — сказала она.

— И мне душно, — вскричал старик. — Как подумаешь да погадаешь, что под этими платьями все были живые люди и что ни один из них своею смертью не умер, то так мороз по жилам и пробегает; все кажется, что под платьями люди шевелятся; ну да нечего делать, прошлого не воротить; садись-ка вон там в уголку на сундук; там из отдушины ветерок подувает.

Старушка села, едва переводя дыхание; смотрит — над головою у ней платье камковое цареградское, сарафаны золотые, парчовые и под ними, прямо против ее глаз, жемчужные, янтарные ожерелья, монисты, а между ними на бисерной нитке крест с ладонкою.

Старушка не взвидела света, схватилась за ладошку и горько заплакала.

— Скажи, дедушка, не обманывай, откуда ты взял это ожерелье?

— А что оно, знакомо тебе, что ли? — спросил старик, задрожав.

— Как не знакомо, — сказала старушка, — это ожерелье моего ненаглядного сокровища, моей дочери.

Старик повалился ей в ноги.

— Ах, мать родная, — завопил он, — кляни меня, — нету в живых твоей дочери; не пожалел я ее красоты девической; замучил я ее вот этой рукою; билась она, сердечная, как горлица; молила меня, чтоб позволил ей хоть перекреститься, — и до того я ее не допустил.

Старушка пуще заплакала.

— Ну, отпусти тебе Бог, — сказала она, — много греха ты принял на свою душу.

— Где Богу мне отпустить, — вопил старик в забытии, — нету прощения грехам моим; нет мне спасения ни в сем, ни в будущем мире.

— Не бери еще нового греха на свою душу, родимый — не мертви души отчаянием: уныние — первый грех, покайся да молись, у Бога милости много!

— Что ты говоришь, мать родная, — вопил старик, — где Богу простить меня — да ведь и ты не простишь меня...

— Нет, не говори этого, родимой, Никола тебе навстречу, — как не простить; много ты согрешил, последнее мое утешение отнял, — но да простит тебе Бог, как я тебя прощаю... только покайся...

— И в молитвах помянешь грешного раба Федора?..

— И в молитвах помяну...

Старик пуще зарыдал.

— Нет, мать родная, уж не покину я тебя теперь, — жутко мне здесь оставаться; веди меня куда хочешь, где бы я мог тебе на свободе всю душу раскрыть, все грехи мои исповедать, наказание принять.

— Не мое то дело, родимый; а если Бог твою мысль просветил, то иди в пустынь, спроси настоятеля, он тебе укажет, что делать.

Они вышли из дома, солнце заходило, легкий ветерок повевал с востока; в пустыни слышался благовест ко всенощной. Не долго шли старик со старухой — пустынь была в полверсте, не больше, — и дорога из леса шла к ней прямая.

Божий храм сиял во всем благолепии; тысячи свеч блистали у золоченых икон; невидимый хор тихо пел славу божую; дым из кадильниц подымался ввысь светлым облаком; на паперти, в притворе стояла толпа народа; едва старушка могла пробраться в церковь. В толпе кто-то сказал ей на ухо: «Помолися о грешном рабе Федоре». Старушка перекрестилась, стала к сторонке и горячо молилась сперва о грешном рабе Федоре, потом и об убиенных им, а потом и о себе грешной, — молилась не без слез, но с верою и надеждой.

Всенощная отошла; миряне стали подходить к иконам; и старушка поднялась с места. Смотрит — перед нею идет светло-русый мужчина с виду лет пятидесяти, здоровый и свежий; за ним, видно, жена его и дети уже на возрасте; а за этою семьею — другая, женщина лет пятидесяти, с нею муж и также дети на возрасте. Сердце забилося у старушки — вспомнила она про детей: «Теперь и они были б такие»; утерла слезу рукавом, перекрестилась и пошла также к иконам прикладываться. Приложилась — вышла на паперть, — смотрит, а за нею идут обе семьи и пристально на нее смотрят; старушка обернулась — лампадою от иконы осветилось лицо ее. Светло-русый мужчина подошел к старушке, поклонился и начал было; «позволь тебя спросить бабушка...» — да как заплачет, да как кинется ей в ноги: «Ты ли это, наша мать родная? где ты была, куда пропадала? мы уж тебя и в живых не чаяли».

За ним и женщина кинулась старухе в ноги.

— Ты ли это, матушка? уж где мы тебя ни искали! все очи по тебе выплакали.

— Вы ли это, дети? — говорила старушка сквозь слезы. — Как вас Бог помиловал? Что с вами было?

— Как и рассказать, матушка, — отвечал светло-русый мужчина. — Как ты пошла на богомолье сюда в пустынь, мы ждали тебя день, другой, — видим, нет тебя, и пошли на поиск: и приходили в монастырь, и весь лес исходили, и голосом тебя кликали, и прохожих спрашивали — ниоткуда ни весточки. Прошел год, прошел и другой, прошло пять и десять; уж давно мы тебя, родную, за упокой поминали, горевали да плакали. Прошло еще лет с десятков, меж тем за сестру присватался человек изрядный,

и я нашел себе по сердцу невесту, мы побрачились, родимая, прости, что без твоего благословения — мы тебя в живых не чаяли, — вот посмотри, и внучата твои...

Горько было нам без тебя, родимая, — часто поминали мы о тебе, — но во всем другом была нам несказанная благодать Божия. Все мы здоровы, дети нам утешение; что ни досеем, сторицею взойдет; в торговлю пустим — нежданная прибыль; словом, что ни предпримем — как будто святой о нас старается, невесть откуда со всех сторон добро нам в дом идет.

Старушка сотворила в глубине сердца благодарную молитву.

— А цел ли у тебя рушник, который я тебе шила? — спросила она, улыбаясь.

— Ах, родная, не прогневись; чудное дело совершилось. Давным-давно, лет тридцать, вижу я сон, будто хожу я по лесу и ищу тебя и вот будто бы слышу твой голос, — иду, иду, вдруг вижу, как будто поляна предо мною, а на поляне дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре, и вышли из дома незнакомые люди и стали звать меня к себе, я не пошел — а они бросились на меня, ограбили, отняли твой рушник, меня изранили — и бросили в реку. Тут я проснулся; поутру смотрю — нет твоего рушника, уж где ни искали, никак найти не могли. Лет через десять потом сестре чудится такой же сон, видит она, как будто тебя ищет по лесу и голос твой слышит — вдруг перед ней поляна, на поляне такой же дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре, — из дома выскочили незнакомые люди, ограбили ее, отняли у ней ожерелье, ее изувечили и бросили, в реку — тут проснулась сестра, смотрит — нет на ней твоего бисерного ожерелья; уж не гневи себя на нас за эту потерю, родная, — мы к ней и ума приложить не умеем.

— Ничего, детушки, я так, из любопытства только спросила.

— Да где же ты была, родная?

— Не спрашивайте, была я по воле Божией; а теперь войдемте лучше опять в церковь да отслужим молебен, — а потом покормите меня, родные, — у меня с утра крохи во рту не было... с утра! — повторила про себя старушка, качая головою. — Чудны дела твои, Господи!

Вся семья вошла в церковь; опять невидимый голос прошептал в ухо старушке: «Помолися о грешном рабе Федоре». В темном углу распростертый лежал старик и лицом ударял себя о холодные камни.

Протекло лет тридцать с той поры. Однажды настоятель отдаленного монастыря на Белом море призвал к себе иеромонаха:

— Отец Феоктист, — сказал он, — в ближнем селении умирает стадвадцатилетняя старица, просит исповеди; приходский владыко ушел [с требами](#), — ты на очереди, но боюсь послать тебя хворого, изможденного постом и бдением — не дойти тебе до селения...

— Господь пошлет силу, — отвечал старец, — позволь сотворить послушанье.

Радость была в доме стадвадцатилетней старицы, когда, узнали, что посетит ее отец Феоктист; всеми знаемо было благочестие престарелого инок. Во власянице, отягченный веригами, едва дышащий подошел старец к умирающей — вся многочисленная семья до земли поклонилась ему. Но как взглянул он на умирающую, так и заплакал горячей слезою.

— От тебя ли Бог привел меня услышать греховную повесть? Узнаешь ли ты меня, святая? Помнишь ли ты грешного раба Федора, спасенного тобою? Прошло много лет — Бог сподобил меня и принести покаяние, и донести казнь, и получить помилование, сподобил и чина ангельского, — но и теперь как вспомню о былом, сердце живою кровью обливается, лишь постом и молитвою душу свою освежаю... мне ли, недостойному, принять грехи твои, безгрешная?

— Не говори так, святой отец, — отвечала умирающая. — Недаром Бог привел еще раз нам с тобою свидеться — в том новая милость его, чтоб не возгордилась я твоим покаянием... Сотвори же послушание, святой отец... Прости и отпусти грехи дочери твоей духовной...

Когда, тщетно прождав возвращения отца Феоктиста, родные вошли в комнату умирающей, было уже утро; лучи восходящего солнца светились на лицах старца и старицы, казалось, они еще молились, — но уже души их отлетели в вечную обитель...

Живописец

(Из записок гробовщика)

Однажды, когда я сидел у Мартына Григорьича, вошел мастеровой:

— Пришли от Данила Петровича.

— Зачем? — спросил хозяин.

— Да за гробом.

— Кто у них умер, уж не жена ли?

— Нет, Данила Петрович сам изволил скончаться...

Мартын Григорьич всплеснул руками:

— Может ли это быть? Бедный! Давно ли мы с ним виделись?.. Такой талант! Такое сердце!

— Попросят дощатого гроба подешевле, а у нас такого нет, — прервал его хладнокровно работник.

— Неси какой есть готовый, не твое дело... Бедный, бедный Данила Петрович!.. — С этими словами он взял шляпу и сказал мне: — Хотите ли поклониться праху незнакомого вам, но замечательного человека? Пойдемте со мною. Вы слышали о Шуйском?..

— Никогда, — отвечал я, — но я готов идти с вами.

— Так! Участь этого человека быть неизвестным; но по крайней мере он начнет жить после смерти; может быть, мне суждено быть его проводником к бессмертию. Неужели и вы не знаете, что мой бедный неизвестный Данила Петрович был, может быть, одним из первых живописцев нашего времени?..

— Я никогда не видал ни одной его картины...

— Не мудрено, потому что у него не было ни одной конченной; но пойдем в его мастерскую, и вы уверитесь, что я говорю правду. Я недавно с ним познакомился; он был очень, очень беден, но все, что скрывалось в его голове, все, что нечаянно он бросил на полотно нетерпеливою кистью, того я вам пересказать не сумею... Вы сами увидите...

Мы вошли. Грустно было смотреть на мастерскую бедного художника. Бледный труп его лежал на простых досках; на лице его еще остались следы внутреннего, недавно погасшего огня; черные волосы лентами струились с прекрасно образованной головы; но все было искажено, запятнано смертию; его покрывало едва держащееся рубище; вокруг были разбросанные краски, палитра, кисти; на огромной раме натянутое полотно; оно невольно приковало мое внимание; но на холсте не было картины, или лучше сказать, на нем были сотни картин; можно было различить некоторые подробности, начертанные верною, живою кистью, но ничего целого, ничего понятного. От нетерпения ли художника, от недостатка ли в холсте, но видно было, что он рисовал одну картину на другой; полустертая голова фавна выглядывала из-за готической церкви; на [теньеровском костюме](#), набросана фигура мадонны; сметливый

глаз русского крестьянина был рядом с египетскою пирамидою; водопады, домашняя утварь, дикие взоры сражающихся, цветы, кони, атласные мантии, уличные сцены, кедры, греческие профили, карикатуры — все это было перемешано между собою на различных планах, в различных колоритах, и углем, и мелом, и красками, — и ни в чем не только нельзя было угадать мысли художника, но с большим трудом можно даже было уловить какую-либо подробность. Стены, окна мастерской, палитра, мебели были испещрены точно такими же очертками... других картин не было. Наши изыскания были прерваны разговором в ближней комнате, сперва тихим, но потом мало-помалу возвышавшимся...

— Ах, не говорите, матушка, — повторял один женский голос, рыдая, — я, я убила его!..

— Полно, полно! Что с тобой? — отвечал другой, женский же голос. — Что ты на себя клеплешь! Полно, полно горевать. Еще молода, мать моя, — другого мужа найдешь.

— Нет, не нажить мне моего Данила Петровича!

— Полно, говорят тебе, слезами не поможешь, да я что правду сказать: счастлива, что ли, ты с ним была? В довольстве, что ли? Что в нем пути-то было?..

Вдова не слушала, а только, повторяла свое:

— Я убила его; он сам говорил, сердечный: ты убьешь меня... Я точно убила его!..

А та отвечала:

— Полно на себя клепать! он просто занемог, да и умер...

Эта сцена продолжалась довольно долго: жалобы с одной стороны, утешения с другой; наконец последние превозмогли; казалось, рассуждения собеседницы утешили вдову, по крайней мере она успокоилась. Мой товарищ хотел навестить к ней; но дверь отворилась, и от вдовы вышла женщина пожилых лет, в крепко накрахмаленном чепце, с веселым и добродушным видом.

— Ах, это ты, куманек! Добро пожаловать; а что, ты к ней, что ли? Ну, уж лучше не ходи, — пусть ее наплачется досыта; авось-либо, Бог милостив, поплачет, поплачет, да и перестанет; а денька через два-три как рукой снимет. Помогите-ка мне лучше отдать последний долг покойному. Сердечный! Сердечный! — прибавила она, посмотрев на бледное, искаженное страданиями лицо молодого художника. — Не умел жить на сем свете. А это кто, батюшка? — продолжала она, взглянув на меня с любопытною улыбкою, которая не мешала ей отирать слезы...

— Это мой подмастерье, — отвечал Мартын Григорьич.

Я поклонился.

— Никогда еще у тебя не видала, почтенный...

— Недавно поступил, Марфа Андреевна.

Она взглянула на меня с тоном покровительства и продолжала свой разговор. Во все время печальной церемонии и потом, возвращаясь к себе домой, куда мы, перемигнувшись, пошли ее проводить, Марфа Андреевна говорила без умолка; из слов ее я скоро узнал, что она богатая мещанка и занимается скорняжеством, то есть шьет шубы. Мы скоро познакомились; я ей полюбился, она мне рассказала всю жизнь живописца; некоторые ее фразы уцелели в моей памяти; постараюсь передать их, как умею.

— Так вы, Марфа Андреевна, хорошо знавали Данила Петровича? — спросил я...

— Эка, батюшка, видно, ты молод, уж мне не знать Данила Петровича! Не только его, да и с батюшкой его хлеб-соль важивала, да и бабушку-то его знавала, — такая была из себя видная, здоровая, — помнишь, бывало, торговала в Бабьем ряду... да где тебе помнить! Ах, горемычный, горемычный Данила Петрович! Верно уж ему так было на роду написано. Да и то правду сказать, всегда беспутный был; а кто виноват? Отец баловал. Отец был зажиточный человек, в Панском ряду на сотни тысяч торго-

вал, — вот и Мартын Григорьевич его знал. Он, бывало, сына в ряд, а тот и руками и ногами: «Пусти, батюшка, в живописцы, пусти, да и только»; а старик-то сгупа, чем бы его себе приготовить в подмогу, послушался, да и отдал в ученье к какому-то немецкому живописцу; да, бывало, еще шутит покойник: «Хошма, говорит, у меня теперь вывеска на лавке будет даровая». Не дождался он вывески от сына, а только обанкротился, да с горя и Богу душу отдал. А сынок-то остался гол как сокол, а себе и ухом не ведет; да туда же спесив: жил, жил у немецкого живописца на квартире на всем готовом, одет, обут, да низко показалось, не ужился; вишь ты, жаловался, будто немецкий живописец — не припомню его имени, прах его возьми — заставлял его на своих картинах рисовать, его работу за свою выдавал, а его начал с пути сбивать. Да! важное дело! Да если бы и так, то что за беда. Известное дело — мастерство: молодой человек сперва на других поработай, а там на себя. Вот и ты у Мартына Григорьича живешь, неужли ты станешь ему указывать: «Вот эту доску я состругал, вот этот винт я привернул, а не ты...» Говорю тебе, совсем беспутный был. Прибежал ко мне, с три короба наговорил, и все свысока. Я ничего не поняла: «И что я-де теперь, матушка Марфа Андреевна, буду на воле работать, на себя, и вся публика-то, все господство-то меня узнает, и картину на выставку-то поставлю, золотом-то я все сундуки отцовские засыплю... и я-то буду художник». Сердце мое чуяло недоброе: «И впрямь ты будешь **художником**», — сказала я ему, смеючись, а он рассердился: вишь, будто я не могла и понять-то его! Я было, чтобы помириться, ему 10 целковиков в руку, а он на стол их бряк — так разгорячился, мой батюшка; только и твердит: «У меня талант, у меня талант». Ну, подумала, посмотрим, какой тебе талант на роду написан: не увидим, так услышим.

Вот обзавелся он, горемышный; где-то лачужку сыскал на Выборжской стороне и написал вывеску: «Живописец Шумский»; так и думал, что вся публика к нему разом и соберется. Не тут-то было: где-где придет к нему какой-нибудь **сиделец**-выскачка вывеску написать.

Только он еще кое-как перебивался. Но как на беду попадись ему на улице смазливая девочка. Слово за слово, узнал, что она сирота, ну приставать: «Поди ко мне мадели делать». Та ему в ответ: «Я-де, батюшка, только на кухне кое-что стряпать умею, а никаких маделей никогда не делывала». — «Нужды нет, уж я тебя выучу». Девке только что отказали от дома, деваться ей было некуда, — из одной квартиры к нему пошла.

Вот, что же, батюшка! Привел он ее к себе, да и ну с нее патреты рисовать — очень нужно кому! Да еще какой, слышь, бесстыдник: и так ее поставит, и сядет; то руку поднимет, то опустит; впрочем, говорят, так по их искусству надобно! — это дело не мое, кто их знает... Как бы то ни было, но только он писал, писал ее, да и вышел грех; вестимо дело: он парень молодой, она девка смазливая, дошло до того, что уж ей стыдно было в люди показаться. Он, нечего сказать, человек был честный, покойник, говорит: «Мой грех, мне и поправить». Вот они женились; живут, друг другом не нахвалятся; она девка умная, хозяйство завела; пожили немного — глядь, то хлебник, то мясник за долгом придет, то хозяин за квартиру просит, а кошелек-то пуст-пустехонек. Бедная баба и туда и сюда, как бы работу сыскать, а он, покойник, не тем будь помянут, и ухом не ведет. На его счастье Сидор Иванович дочь замуж отдавал, — купец богатый, почтенный, хотел все дело по порядку исполнить, приданое приданым, а к тому же захотел с дочери да с зятя патреты повесить у себя на дому. Позвал Данилу Петровича, говорит: «Вот тебе сто рублей, а как патреты напишешь, так еще сто рублей дам, только схоже напиши». А Данило Петрович ему: «Уж это-де мое дело, так-де напишу, что от настоящего не узнаешь». Вот Сидор Иванович — купец богатый, вестимо дело, хотел похвастать, — надел на свою Дунюшку и бриллиантов, и жемчугов, и подборов, и подвесок, не только матушкиных, но что и от бабушки да прабабушки досталось,

чтобы, дескать, все видели, что не нищую замуж выдает; как вошла, так индо в комнате засветлело, даже Данило Петрович остолбенел. «Ну, — говорит отец, — рисуй, как знаешь; но только так, чтоб подвески спереди, да и гребень сзади был виден». Что же Данило Петрович — ах, беспутная головушка! — как закричит себе: «Что это вы красавицу изуродовали! Она молода и свежа и собой хороша, что ее, как коломенскую куклу, мишурой-то убирать?» А какая мишура: все жемчуг да бралианты... «Долой, — говорит Данило Петрович, — и подборы, и подвески, и гребень, все-де это портит ее натуру», — да как распустит ей косы по плечам, и стала Дуняша словно русалка, а Данило-то храбрится: «Вот уже, говорит, патрет напишу, так всему свету на удивление будет». Только старик не тех мыслей был. «Нет, говорит, не дам над моим детищем издеваться, не на смех ее писать, словно какую актерку трепаную, а видно ты, Данило Петрович, своего дела не разумеешь, коли жемчугов да бралиантов не можешь списать; хоть одного зятя мне напиши».

Данило Петрович прикусил язычок: «Ну, давай, говорит, зятя». Привели зятя; надо тебе знать, что зять был человек чиновный, копиистом служил; ну, разумеется, также похвастаться хочет, принарядился, праздничный мундир надел. Данило Петрович и руками и ногами: «Не умею мундиров писать!» — стал на том, да и только. Тут уже купец рассердился, да и сказал Данилу Петровичу: «Ступай же, — сказал он, — куда знаешь, коли своего дела не разумеешь, а мы тебе не пешки дались». А Данило-то, чем бы спасовать, выкинул на стол сто рублей, да и поминай как звали. Так и не впервые было. Что ему ни закажут, все перехитрит, к стене не прислонишь; меж тем дома и холодно и голодно. А Данило, чем бы горю помочь, сидит у себя в нетопленной комнате, мажет по холсту каких-то нехристей, да песенки попевает. Вот, немного погодя, на него стало находить: бродит, бродит день-деньской, да и уставится против старой стены, смотрит на нее то с той, то с другой стороны: вишь ты, представлялись ему какие-то фигуры на стене; соседи узнают, домой приведут, а он свечку зажжет, да всю ночь и марает по стенам — индо смотреть страшно — все стены испортил. Вот жена к нему придет: «Полно, Данило Петрович, свечки-то палить; мало тебе дня? Ведь свечка-то гривну стоит». А он осерчает, закричит: «Ты убьешь меня», — да и только. С таким изделием немного наживешь; вот он, сердечный, не ест, не пьет, только и твердит: «Вот погоди, найду, непременно найду». Чего уже он, клада, что ли, искал, не могу тебе сказать, только он со дня на день худал; что ночью намажет, то днем сотрет; в дом ничего, а из дома то и дело, то мебель, то платье продаст. Жена его станет резонить, а он только и твердит: «Ты убьешь меня». Поди толкуй с ним! Так они пожили немного-недолго, — не осталось в доме ни синего пороха. Видит, нечего делать — поугомонился, пошел по гостиному ряду спрашивать: нет ли где вывески подновить? Насилу поверили, таким он безумным казался. Подновил вывески две-три, другой работой забрался — зашиб копейку, и опять гордость напала. Раз вот осенью ушел из дома с раннего утра, невесть где целый день протаскался; уже после узнали, что он до Парголова доходил. Вот уж и вечер, вот и ночь, вот уж и рассветать стало, — дождь между тем ливмя, а Данила нет как нет. Жена всполошилась, бегать — туда, сюда — где! И с собаками не сыщешь; уж к утру воротился — весь измоченный, — сухой нитки нет, бледный, и, словно полоумный, кричит: «Нашел, нашел!» А глаза-то у него так и горят; выхватил из-под мышки холстину, натянул на раму и тут же, не раздеваясь, ну на ней какую-то ладонную, что ли, писать. К вечеру прохватил его озноб. «Что, говорит, жена, кабы кофею сварить?» Той уж стало невтерпех; она ему в ответ: «Какой тебе кофий — и хлеба в доме нет; вишь, от тебя ни шерсти, ни молока, да туда же кофею просишь!» Замолк Данила Петрович, опять за мазилку, пописал недолго, да и свалился на пол, как сноп. Подняли, положили на постель, всю ночь бредил. Вот лекарь пришел, — еще, на счастье, добрый человек, — то тем, то другим — через недельку опра-

вился. «Ну, — лекарь говорит, — ты вышел из беды, Данила Петрович; только смотри, не оплошай; еще ты опасен, с постели не вставай: и за работу не принимайся». Все обещал; жена как-то отлучилась, — приходит, а муж сидит за картиной, руки дрожат, еле не падает. Подняла его, уложила, прикрикнула; но что делать с безумным! День послушается, а на другой опять за свое, — индо лекарь отказался. Однако ж Бог помог — оправился. Смотрит — в доме все чисто; последнее платье заложено — выйти не в чем; а ему и горя мало. «Незачем, говорит, теперь по улицам бродить», — и сидит за своей ладонной да малюет. Меж тем жена плачет да горюет: пошла по знакомым, проведала как-то, что в околотке мелочную лавку заводят, отыскала хозяина, уластила, вот он приходит, заказывает вывеску, дает в задаток рубли два-три: «Да смотри, говорит, ты, маляр, у меня вывески не задержи; мне скоро ее надобно: лавку скоро отделают; да смотри появственнее да поглянцовите напиши, и чтобы все на ней было, и сахарные головы, и банки с вареньями, и сыр голландский, и яблоки, и ряпушку копченую повесь, чтобы всякий-де видел, что-де все есть, чего душа ни пожелает; пожалуй, не задержи, а то другому закажу». Данила Петрович взял деньги, да и: посмеивается: «Будь благонадежен, говорит, уж так тебе вывеску напишу, что, на нее глядя, и самому есть захочется».

«Ну, говорит, жена, слава Богу! Деньги есть, и работа есть, только краски нужны; сходи купи; знаю, что дорого, да нечего делать, без них нельзя вывески написать; вот тебе записочка». Жена сдуру послушалась, пошла, купила: дали ей три скляночки, почти все деньги истратила. Пришла — обрадовался Данила, схватил краски, да чем бы за вывеску, — опять за свою ладонную. — Прошел не день, и не два, — приходит купец за вывеской — куда! — ее и в половине не было. Он к Даниле: «Давай вывеску или деньги подай!» Оно и дельно — ему было завтра лавку открывать. Данила туда, сюда, «Все брошу, говорит, в один день напишу...» Хвать — холста нет; купить не на что... Купец говорит: «Не дам ни копейки, опять обманешь». На крик собрались соседи, жена плачет, разливается: «Нечего греха таить, — вопит горемычная, — хоть вы прислушайте, добрые люди; мне уж с ним не сладить, вконец дом разорил...» Вот соседи стали его укорять: «Что ты за маляр, что и холста не имеешь? Купцу что за дело: он задаток дал; вот ведь натянута холстина, — ну и ниши вывеску, чем вздор-то малевать, а слова не исполнять».

Долго слушал Данила Петрович и молчал, словно рыба; но как услышал последнюю речь, пригорюнился. «Вы правы, говорит, точно правы: слово дал, надо исполнить»; схватил кисть, замарал всю картину и ну малевать сахарные головы; к другому утру вывеска была уж готова; купец, добрый человек, не помянул лиха, поблагодарил, да на столе беленькую оставил. Жена не нарадуется, побежала скорее на рынок и кофею купила, чтоб только мужа потешить; приходит домой, смотрит — а он на полу, и трясет его лихорадка. Скорей за лекарем, да уж, видно, поздно: месяца два бедный промаялся, да и Богу душу отдал. Отчего уже это ему приключилось, не знаю; лекарь толковал, что прежняя болезнь опять пришла!»

— А где же вывеска-то? — спросил я у рассказчицы...

— И, да кто ее знает! Говорят, и лавочка-то обанкрутилась.

Здесь мы приблизились к дому, и я, распроставшись с Марфой Андреевной, пустился отыскивать предсмертное произведение несчастного; я узнал имя хозяина лавочки, имя того, кто купил вывеску с аукциона, кому перепродал; наконец мои искания увенчались успехом: на Шукином дворе, посреди ржавого железа я отыскал наконец вывеску Шуйского — ее смыло дождем!

Маргинал

(Из записок гробовщика)

...Не все для мертвых — однажды мне случилось поработать и для живых. Странная была история — никогда ее не забуду. Видите: нашла какая-то полоса, не знаю как ее назвать, счастливая или несчастная, но для меня по крайней мере очень убыточная; как бы вам сказать поблагоприличнее, покос был плохой, то есть не было требований на мое изделие... Оно, в общем смысле, может быть, было и очень хорошо, да для меня-то очень дурно; что дурно? Просто беда, да и только! Не соблазняйтесь, сделайте милость, моими словами; не я в том виноват, уж так свет устроен, что почти всякий прибыток живет на счет чужого несчастья. Уж, кажется, что может быть почтеннее докторского дела; тут нужно и ученье, и твердость духа, и благородство, и самоотвержение, словом, вся любовь человеческая, — а разберите-ка хорошенько, так и выйдет, что его ремесло хуже моего; я по крайней мере работаю — для других, да и для себя, а бедный доктор именно против себя работает, тут уж как ни вертись, и ночи просиживай, и хлопочи над больным, и подымай целый свет, чтоб его вылечить — все так; кажется, вся цель именно в том, чтобы не было вовсе больных, а достигни цели, не будь больных — филантропу и придется зубы положить на полку. Что тут делать! Уж так свет устроен, говорю вам; зачем оно так? Должно ли оно быть так? Надолго ли так? Это до меня не касается; знаю только, что так свет покуда устроен: дело коммерческое! И, кажется, рад, что не видишь слез, что не слышишь рыдания, — а с другой стороны, посмотришь; и жене нужна обнова, и детям игрушка, и себе бутылка пива, да и товар закуплен, работники без дела, вексельам срок близко, даже и о банкротстве помышляешь, — вот мысли иначе и свернуты.

Так не судите ж меня, что я волею и неволею горевал над чужим счастьем. Чтобы не терять понапрасну времени, я заготовил два экземпляра моего изделия и на досуге снарядил как нельзя лучше: доски сухие, бархат настоящий французский, гвозди полированные — любо-дорого смотреть, я таки, признаюсь, и посматривал да, так сказать, немножко подумывал: не пошлет ли судьба — *желающего*.

Смотрю — к окошку прильнули два лица, глядят пристально на мою выставку, переговариваются, — видно, понравилась — я жду: что-то будет! — а между тем, нечего греха таить, в голове у меня так и завертелся чепчик, которого просила Энхен к балу на будущей неделе у нашего соседа-портного. Житейское дело, сударь! Все на свете ассигнация! У одного из бумаги, у другого *из полулугара*, у третьего из мягкой спины, у четвертого из досок и обита бархатом, — а на поверку все то же: как бы разменять свою ассигнацию! Наконец, звонок зазвенел, и в рабочую вошли два человека.

Один уж пожилой, с черными усами, пресуровой осанки и, как теперь смотрю, в синей венгерке; другой молодой, бледный как смерть, с покрасневшими глазами и отчаянным видом.

— А что оба? — сказал мне пожилой отрывистым басом, указывая на мое изделие.

— Оба?.. — спросил я невольно.

— Ну, оба? Что же? Разве странно?

Я сказал цену.

— А дешевле?

— Я не торгуюсь.

— Готовы?

— Нет! Еще винты надобно приладить, — чтобы остановки не было, знаете, когда... впрочем, это минутное дело...

Человек в венгерке вынул деньги, положил их на стол, промолвил: — завтра, в такой-то дом, в девять часов утра... и тихими шагами пошел к дверям, за ним побрел и молодой человек, — я не мог не заметить, что он трясся как в лихорадке.

Признаюсь, я взял деньги, пересчитал их, и не без удовольствия, но на уме у меня было и один и два: «что тут такое? — думал я. — Комедия, или трагедия, или так просто, обыкновенное житейское дело? Мои *желающие* что-то смотрят так странно; тут не одно горе, — приметался я к нему, — тут что-то такое...» но я терялся в догадках.

После обеда вышел я со двора для закупки кое-чего домашнего; подхожу к Мойке; вижу, кто-то шагает по набережной самым романтическим образом (тогда еще романтизм только что входил в моду) — пройдет несколько шагов, потом остановится, мрачно посмотрит на зияющую бездну, то есть на Мойку, и опять шагает-шагает, опять остановится, вынет из кармана то какую-то записку, то платок и по очереди прикладывает к лицу, а иногда и обе вещи вместе прижмет к груди и — опять положит в карман. Глядь — это мой юноша, утренний посетитель, один из *желающих*. Его странные эволюции не обращали ни малейшего внимания всегда озабоченных петербуржцев; мало ли людей останавливаются смотреть на приятное течение Мойки? — о вкусах спорить нельзя, — но для меня эти эволюции имели какой-то темный смысл, который, по разным причинам, как вы легко можете себе вообразить, мне хотелось разгадать хоть сколько-нибудь. Я своротил на тротуар и пошел вслед за мрачным юношею; скоро я догнал его, снял шляпу и очень вежливо осведомился о его здоровье. Мой герой в первую минуту не узнал меня, и я принужден был ему напомнить, что давеча утром *имел удовольствие* с ним познакомиться. Герой вздрогнул. Это, однако же, меня не остановило; мы шли в одну и ту же сторону, своротить в улицу было некуда, и волею и неволею романтический юноша должен был подвергнуться моим тонким расспросам. Вы знаете, в карман я за словом не хожу, обучался-таки немножко, слышал про то и другое¹, вот я и начал стороною и о красоте природы вообще и Мойки в особенности, о бренности мира, о злополучиях жизни человеческой — словом, мой романтический юноша заслушался, — сначала отвечал мне только какими-то полугласными, а потом мало-помалу и сам разговорился. Вот я речь свою веду тонко, цепляюсь за то, за другое, за примеры пагубного влияния страстей и так далее... мой юноша сам не свой, — да вдруг и брякнул: «Поверьте! Нет ничего хуже картежной игры! Гибель, да и только». — Ге! Ге! — сказал я самому себе, — вот оно что.

Я дальше в расспросы — мой юноша туго подавался, однако ж выпытал я из него, что он играет и давно играет. Тут я счел нужным сделать молодому человеку некоторое нравственное поучение, приличное обстоятельствам, заметил ему, как он вредит самому себе, как расстраивает свое здоровье, и проч. и проч... Молодой человек был, видимо, тронут, — тогда я приступил к патетическому месту речи и стал в резких чертах изображать ему горесть его почтенных родителей, когда они узнают, как он, вместо того чтоб следовать их спасительным наставлениям, убивает понапрасну и способности, и золотое время, и уж хотел было подкрепить слова мои известною латинскою цитациею из Вергилия... как вдруг молодой человек прервал меня:

— Что вы мне говорите! — сказал он. — Если бы вы знали! Родители! Родители! Если бы вы знали, что я взрос на картах, что едва ли не с молоком я сосал их, проклятых! Скажу вам всю правду: отец мой игрок — он игрою сделал себе состояние. Матери моей не помню, но помню до сих пор первые слова, которые на меня действовали: «не кричи, сударь, — говорила мне нянька, — папенька играет» — и я замолкал, переставал плакать. «Папенька играет!» Я еще не вполне понимал эти слова, — но в них было для меня что-то важное, страшное и почтенное. Подрастая, я стал замечать,

¹ Те из читателей, которые помнят другие рассказы гробовщика, может быть, не забыли, что рассказчик готовил себя совсем к другому званию, вообще любит иногда напомнить об том и немножко прихвастнуть. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

что иногда папенька приходил к нам в детскую, ласкал меня, смеялся, играл с моими старшими братьями, и братья весело шептали между собою: «Слава Богу! Папенька выиграл!» Иногда же папенька был угрюм, сердит, бранил нас за все и про все и драл за уши, — и братья печально прижимались в уголок; я приставал к ним: «Что такое?» они отвечали: «Молчи! Вот уж тебе — разве не видишь, что папенька в проигрыше?» Часто папенька входил к нам с необыкновенно веселым лицом, бросал на стол двадцатипятирублевую ассигнацию и говорил: «Вот вам, дети, *на жуировку*». Мы хлопали в ладоши, кричали: «папенька выиграл!» и разом у нас являлись и пряники, и конфекты, и игрушки, и все, чего нам только хотелось.

И вот, бывало, когда у отца по ночам игра, мы соберемся тихонько у двери и смотрим в щелку: какое лицо у папеньки? Скоро мы привыкли понимать каждое его движение; у него незаметная улыбка, и у нас дух занимается; у него руки трясутся, и мы дрожим всем телом, жмемся друг к другу, шепчем, задыхаясь: «Ах! проигрывает!.. нет! стирает... верно, лучше... дай-то Бог!» В эти минуты уж ничем не могли нас отманить няньки, ни игрушками, ни конфектами, мы уж чувствовали всю игрецкую сладость, всю игрецкую желчь, сердчишко стучало как молоток, мы злились вместе с отцом, мы сжимали кулаки и проклинали счастливого понтера, который отгребал себе кучу денег; но когда понтеры выходили из себя, рвали на себе волосы, бросали под стол измятые карты — то-то была радость, — то-то было счастье! Мы обнимали друг друга, целовались и радостно шептали промеж себя: «Папенька выиграл! Папенька выиграл!» Вот мое первое воспитание.

Лет пятнадцати я уж помогал отцу; если, бывало, в долгие ночи он устанет от сиденья, то заставит меня метать, а сам ходит по комнате, смотрит на мое мастерство и похваливает или побранивает. По утрам, бывало, от нечего делать учит меня, как держать руки, чтоб не видать было углов, показывает, чем понтер может обмануть банкомета, или играет со мною в пикет для развлечения и сердится, когда я промахнусь. Отправляя меня в Петербург, отец мне дал только одно наставление: «Смотри, брат, не зевай, — знай, с кем играешь, да играй с толком, — а пуще всего никогда не понтируй — знай мечи честный банк, — всегда будешь в выигрыше». — Хорошо ему было говорить: не понтируй! — хорошо, что у него кровь холодная, — сидит себе мечет, глазом не мигнет, а ведь что ни говори, а понт и есть настоящая игра, — все дрянь перед ним, — тут — и сердце бьется, и голова трещит... Помню, как однажды на сторублевую ассигнацию я взял десять тысяч — в две минуты, не более — вот это куш, — индо пот пробил, а на душе-то, на душе — женский поцелуй ничто! — И ведь не деньги главное, — а вот то, что сердце щиплет — и рассказать нельзя... как тут не понтировать... то есть так, — скажу вам всю правду, вот видите эту записку, — я вам покажу... в ней нет ничего особенного... только цифра «двенадцать с четвертью» — понимаете? Если бы вы знали, чья рука это писала! Вот уж три месяца добивался я этой записки, — мучился, страдал... а все-таки — хоть сейчас, если бы можно, поставил на карту...

— А счастливо играете? — спросил я.

Молодой человек рванул меня за рукав: «Эх! Что вы мне напомнили!»

— Что, видно, крепко проигрались?

— Не спрашивайте лучше... беда, да и только!

— Ну, да вот господин, что с вами приходил, разве он...

— Кто? Дядя? — У! он человек строгий, страшный человек, и чужак и кремень. Был в старину игроком, теперь карт в руки не берет... неумолимый человек! Что за правила...

— Да разве он не может?..

«Кто? Он? у него одна поговорка: «Что должно, то должно! Давши слово, держись!» Да как заладит ее, — так уж тут что хочешь. Вы не знаете, что это за человек! Ужас! Ни суда, ни милосердия. «Все это вздор! — говорит, — бабы выдумали!» Однажды дядя уз-

нал, что кто-то про него сказал дурное слово, — дядя нахмурился и обещал, что отнесется к личности обидчика, сказал и пошел в дом к нему, приходит, ему говорят, что уж-де три дня как в заразной горячке с пятнами, — «а мне что нужды? — ответил дядя. — Долг! Святой долг!» Родственники, прокуренные хлором, с почтением пропустили такого неустрашимого друга, а дядя в спальню, прямо к постели больного, да не говоря лишнего слова...» Молодой человек запнулся — перед нами явилась фигура в венгерке. Ужасный дядя поглядел на меня искоса, холодно отвечал на мой поклон, взял племянника под руку и повел его в другую сторону, как ребенка.

Очень мне было досадно! Только что молодежь распоясался! Не успел я у него ничего хорошенько повыспросить: кого они из родни потеряли? Отчего двоих вместе? Нет ли тут чего другого? Такая досада — нечего было дома жене рассказать.

На другой день по условию, ровно в девять часов, я явился в назначенный дом с произведениями моего искусства. Между тем, как я узнал после, случилось следующее происшествие.

Накануне, около часа пополудни, племянник пришел к дяде в отчаянном положении, и между ними произошел следующий разговор:

Дядя: «Что, играл?»

Племянник: — Играл.

— У кого?

— У Тяпкина...

— Понтировал?

— Понтировал...

— Проиграл?

— Проиграл...

— Много?

— Двести...

— Заплатил?

— Сто заплатил... сто через двадцать четыре часа...

— Есть?

— Нет...

— Что же ты?..

— Пулю в лоб...

— Хорошо.

Дядя замолчал. Племянник тоже. Так прошло четверть часа. Дядя молчал. Племянник начал:

— Дядюшка...

— Что?..

— Дядюшка...

— Что такое?..

— Мне девятнадцать лет...

— Когда?..

— В этом году...

— Правда...

Дядя замолчал. Племянник тоже. Прошло еще четверть часа. Племянник опять:

— Дядюшка...

— Что?..

— Завтра в двенадцать с четвертью...

— Что такое?

— Моя графиня...

— Не дурна...

— В первый раз...

— Поздравляю...

Дядя замолчал. Племянник тоже. Прошло еще четверть часа.

— Дядюшка...

— Что?..

— Неужели, в самом деле, пулю в лоб?..

— Непременно...

— Нет надежды!..

— Понтировал... Говорили... Не послушался... Хочешь своим умом жить. Вольнодумство. Подлость. Гнусность. Что на поверку? Долг, святой долг. Нечем? Одно средство...

Дядя замолчал. Племянник тоже. Прошло еще четверть часа... Племянник встал:

— Дядя! — сказал он.

— Что такое?

— Однажды отец мой выручил тебя из беды...

— Правда, хорошо.

Дядя спокойно вынул лист бумаги и принялся писать. Племянник смотрел на него с нетерпением. Дядя исписал лист; потом отворил комод, вынул из него какие-то бумаги, положил в конверт, надписал, запечатал, сказал: «Теперь все в порядке»; потом пододвинул к себе прекрасный ящик красного дерева, открыл и примолвил: «настоящий [кухенрейт](#); никогда не осекаются».

Спокойно осматривал дядя один пистолет за другим: спускал курок, отвертывал винты, бережно вытирал их замшею и опять привертывал.

— Что все это значит? — вскричал племянник, наконец выведенный из терпенья.

— Ничего. Однажды твой отец выручил меня из беды. Правда. Долг, святой долг. Хочешь прочесть?..

Дядя подал племяннику исписанный лист бумаги, и племянник прочел с ужасом: «Никто не виноват. Мы сами своей волею.

За вырытие двух могил столько-то.

Доктору за осмотр столько-то.

На угощение столько-то.

Итого: 515 р. 75 к., которые при сем прилагаются.

Такого-то числа в 12 с четвертью пополудни».

— Вы шутите? — вскричал молодой человек.

— Я? — спокойно спросил дядя.

— Что значит эта бумага?

— Ничего. Порядок, как всегда. Так должно. Так привык. А то известное дело, после меня, на то, на се, растащут, разворуют...

— Вы сами?..

— Да — я сам. Твой отец выручил меня из беды. Правда. Долг, святой долг!..

— Но у вас есть деньги?..

— Есть деньги — немного, есть и дети — их много. Без изъяна на них достанет, с изъяном — не достанет. — Не по миру же им — ради тебя.

— Что ж вы намерены делать?..

— Что должно. В полночь 24 часа. Честь страждет. В долгий ящик — поздно. Сегодня зову на игру. На квит не согласятся. Одно средство: двоить — на [мартингал](#). Твой отец меня выручил. Тряхну стариной. Или пан, или пропал. Повезет до полночи — хорошо, — не повезет — ты и я разом — и концы в воду.

— Это ужасно! Неужели нет другого средства?.., в девятнадцать лет... Графиня... счастье...

— Поздно хныкать... Говорили. Не послушал. Убивал и время, и деньги. Теперь поздно. Твой отец выручил меня из беды. Делаю, что могу. Спасая семейную честь...

— Неужели нельзя перехватить где-нибудь?..

— Занять? Кому? Тебе? Игроку? Шутишь. Я — не могу и не хочу. Тут долг.

Они снова замолчали.

Через несколько времени дядя встал.

— И забыл с тобою. Пойдем-ка. Надобно позаботиться о новоселье.

— О новоселье? — повторил молодой человек.

— А как же. Все надобно приготовить, честно рассчитаться — и лишнего не платить. То ли дело свой глаз.

За новосельем они приходили ко мне. Затем дядя назвал племянника бабою и послал его просвежиться, — но издали за ним подсматривал.

Около одиннадцати часов дядя еще раз осмотрел пистолеты; вогнал пули, — наложил пистоны.

— Вот, — сказал он, — два для тебя, два для меня. Один не удастся — другой не обманет. Тебе без денег нечего соваться, да и голова у тебя не в порядке. Сиди в кабинете и жди. Если в полночь не отыгрались — я к тебе... и тогда — прежде ты, потому что ты баба... или... ты меня знаешь... мое слово крепко и рука также... я ж подоспею...

Между тем в гостиной расставлялись столы, зажигались лампы и свечи, слуги сустились, — прохожие останавливались у окон и говорили: «Эх светло — видно, бал какой?»

Игроки начали собираться.

Дядя стал выходить из кабинета.

— Дядя! Неужели все кончено? — робко проговорил бедный молодой человек...

— Нет! Еще не все! Ты баба, — отвечал старик и вышел в гостиную.

Описывать нечего, что происходило в эту минуту в душе молодого человека, — вы найдете это описание [в любом романе](#).

В полутемном кабинете, прильнув к двери, он почти без памяти смотрел в светлую гостиную; все, что пред ним было, представлялось ему сном, сценой, в каком-то тумане... он видел и не видел, слышал и не слышал: вот гости раскланиваются,жимают друг другу руки, расходятся кучками, сходятся вместе, — слышны разные речи, о погоде, о театре, о выигрышах и проигрышах; вот подают чай; вот Тяпкин предлагает стотысячный банк; усаживаются, кричат от восхищения, что дядя наконец опять играет, поздравляют его, выговаривают разные плоскости; вокруг старого игрока составляется кружок, — новые колоды трещат в руках понтеров; — играют.

А молодой человек все прильнул к двери, — окраина врезалась ему в лицо... и невольно вспоминает он свое детство, — ищет глазами отца, прислушивается, не голос ли няньки, — не зовет ли она его в теплую постельку, не манит ли его игрушкой... ему хочется обмануть себя... тщетно! Пред ним холодное, неумолимое лицо палача: палач вынимает карту за картой и ставит их на жизнь или смерть — багровые круги вертятся около нагоревших свечей, часы пробили половину двенадцати. Молодой человек вспоминает о прекрасной душистой записке, прижимает ее к губам, слезы текут из его глаз, — он проклинает и карты, и себя, и рождение, и жизнь, и детство, и свое воспитание, проклинает все, что только представляется его памяти, все! Он готов предупредить своего палача, — ворваться в середину игроков, швырнуть со стола, карты, разmozжить головы, броситься из окошка... но вот говор игроков умолк, — видно, решительная минута... все стихло — все наклонились на стол, слышно тихое трепетание маятника, отрывистые дрожащие голоса произносят как будто из могил: семерка... идет... убита... тройка... дама... [плие](#)...

«Ва-банк!» — вскричал палач громовым голосом...

Молодой человек отбежал от двери и упал без чувств на диван...

Через несколько времени довелось мне быть на [макарьевской ярмарке](#) по коммерческим делам. Старые и новые приятели затащили меня в какой-то дом истинного их приятеля, как говорили они, и где очень весело. Я поддался. Приходим; смотрю: квартира славная, убранство — и зеркала, и гардины, и мебели — очень красиво, точь-в-точь в зале петербургского парикмахера; оборотился на людей: шулер на шулере, а между ними набольший, так все его уважают, так все ухаживают за ним.

Отворяются двери, — входят новые гости; глядь, ан мои старые знакомые дядя с племянником в дорожных платьях — и прямо на шею к набольшему-то.

«Ну, брат, Ванюша, — проговорил басистый дядя, — поздравляю; вот тебе твой сынок; можешь на него положиться: верный помощник, верная опора на старости; отучил молодца; он больше... не [понтирует](#)».

КОММЕНТАРИИ

НОВЫЙ ГОД

(Из рассказов ленивца)

Впервые напечатан в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», 1837, 2 января, No 1, стр. 4—6, за подписью Безгласный.

Впоследствии опубликован в «Сочинениях князя В. Ф. Одоевского», СПб. 1844, часть вторая, и начинает серию бытовых повестей, которым писатель дал общее название «Домашние разговоры». Датирован рассказ 1831 годом. Печатается по изданию 1844 года.

Большой разрыв в сроках между написанием рассказа (1831) и его опубликованием (1837) объясняется, видимо, содержанием «Нового года», посвященного событиям пред- и последекабрьского периода. Возможно, Одоевский, боясь цензуры, оставлял некоторое время рассказ ненапечатанным.

Белинский, перечисляя повести, особенно его заинтересовавшие, как-то: «Бригадир», «Бал», «Насмешка мертвеца», «Город без имени», «Черная Перчатка», отмечал, что «лучше других кажется нам «Новый год» (В. Г. Б е л и н с к и й, т. VIII, стр. 297—323).

«В этих произведениях, — прибавляет критик, — преобладает юмор, и они, не теряя своего дидактического характера, начинают наклоняться к повести» (там же, стр. 311). Это замечание тем более многозначительно, что, как известно, Белинский под термином «повесть» понимал не столько обозначение жанра художественного произведения, сколько актуальное для него приближение прозы к вопросам реальной действительности.

В первой части этого рассказа мы имеем одно из немногочисленных художественных описаний литературного объединения молодежи преддекабрьского периода. Одоевский в рассказе дает острую картину расслоения литературных партий, причем позиция его прямо противоположна «журнальному триумвиату» — Булгарину, Гречу, Сенковскому. Намеком на Булгарина (реакционного журналиста, который после разгрома декабрьского восстания был агентом III отделения) является место, где автор говорит о том, что «сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством, но мы, в порыве беспристрастия, в ответ на нежности задели этих господ без милосердия». На страницах «Мнемозины» Одоевский не раз очень резко с уничтожающей иронией разоблачал Булгарина. Недаром М. П. Погодин через много лет вспоминал, что «грозные послания Одоевского к Булгарину и Гречу составляли новое явление в нашей журналистике» (см. «В память о князе В. Ф. Одоевском», М. 1869, стр. 51).

Вспоминая о дискуссии 1825 года по поводу «Горя от ума», Одоевский писал в письме к А. Н. Верстовскому в 1834 году: «...не знаю, выйдет ли из меня что-нибудь путное, но только знаю, что люди, которых я защищал... теперь сделались классическими у нас писателями» (см. журнал «Советская музыка», 1952, No 8).

ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ, КОШКЕ И ЛЯГУШКЕ

(Рассказ провинциала)

Впервые опубликован в «Библиотеке для чтения» 1834, т. II, стр. 192—211, под заглавием «Отрывок из записок Ириней Модестовича Гомозейки» за подписью «В. Безгласный».

Впоследствии вошел в собрание «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844, часть третья, стр. 141—166, под заглавием «История о петухе, кошке и лягушке» (рассказ провинциала) и с посвящением Д. В. Путятю; по этому тексту и печатается рассказ с внесением незначительной правки по экземпляру второго собрания сочинений (ОР ГПБ, оп. No 1, пер 69, л. 141).

В произведениях Одоевского 30-х годов город Решенск служит своего рода символом русской провинции, как для Герцена — Малинов, или Салтыкова-Щедрина — Крутогорск.

Лаврентий Гейстер (1683—1758) — врач, анатом и хирург.

«О предчувствиях и видениях» — книга голландского врача Гофмана Бургаве (1668—1738).

КАТЯ, ИЛИ ИСТОРИЯ ВОСПИТАННИЦЫ

Отрывок из романа «Катя, или История воспитанницы» был впервые опубликован в альманахе «Новоселье», ч. II, СПб. 1834, стр. 369—402, за подписью: «Ъ, Ъ, Й, Безгласный». В фонде Одоевского, помимо опубликованного отрывка, сохранились отдельные сцены, продолжающие начало, но цельности нет в этих отрывках. Одоевский предполагал дать этому роману эпиграф из грибоедовского «Горя от ума»: «Воспитанниц и мосек полон дом». Несколько цитат из Грибоедова использует он и в тексте, например — когда говорит, что граф Жано вывез из Италии Паулино «для замыслов каких-то непонятных» и др.

Печатается по тексту альманаха.

В повести Одоевский поднимает вопрос о новом демократическом герое в современной ему литературе. «Вы не знаете, — говорит писатель, — что такое жизнь нашего среднего класса, — она очень любопытна. Жаль, что еще никто из авторов не обращал на нее внимания».

Из одного зачеркнутого в рукописи листа можно заключить, что описание нравов высшего общества в «Кате», должно было быть столь же сатирическим, как и в «Пестрых сказках» или в «Княжне Мими»; «Многие из наших писателей, как весьма основательно замечает мой почтенный приятель Ириной Модестович Гомозейко в неизданной своей биографии, — а с ними и я, их ревностный подражатель, — очень любят нападать на гостиные. Это занятие очень легко и очень выгодно. Вы браните гостиные — всякий подумает, что вы человек кабинетный. А все вздор! Байрон и в гостиной Байрон; господин А, В, С, Д и в кабинете господин А, В, С, Д. Так нет! учредили закон: если ты ученый, если ты философ, то не заглядывай в гостиную, если ты человек светский, то не заглядывай в кабинет. От этого похвального постановления все люди, а иногда один и тот же человек, разделились на две половины, из которых одна другую не понимает; что делается в кабинете, над тем смеются в гостиной, что делается в гостиной, о том не знают в кабинете; к чему приготовляет воспитание, то избегается в свете, что читается в книгах — то в книге и остается; между наукою и жизнью, между искусством и жизнью, между религиею и жизнью — целая бездна...» (ОР ГПБ, оп. No 1, пер. 13, л. 3).

В «Воспоминаниях» Ю. Арнольда мы находим описание вечеров у Одоевского, раскрывающее возможную причину того, что писатель вычеркнул приведенный абзац из текста повести, как слишком напоминавший обстановку его собственного дома.

«...Само собою разумеется, — вспоминал Ю. Арнольд, — что я прежде всего подошел к хозяйке дома засвидетельствовать должное «высокопочитанне со стороны всепокорнейшего ее слуги» в виде самого этикетного реверанса. Ее сиятельство удостоили меня милостивым легоньким наклонением головы, но ручки своей протянуть не извоили: это в переводе с мистериозного языка великосветского церемониала значило: «Mesdames et messieurs, sa appartient à la rôture, et pire même, c'est un homme de rien: a ne vous regarde donc nullement» <Господа и госпожи; это вот принадлежит к простолудию, хуже даже, человек ничтожный; это вот, следовательно, никак вас не касается>. Я же, не подав ни малейшего вида, что я сведущ в этой китайщине, скорчил еще более сладкую мину и поклонился еще отборнее этим членам того общества, которое, называя само себя «хорошим», нередко выказывало и еще выказывает себя далеко не хорошим. Но, улыбаясь им, я думал: господа и госпожи, да я сюда и вовсе не для вас явился: Je me fische pas mal de vous <Ни на что вы мне не нужны>. Не вы есть то «хорошее» общество, которое я без сомнения найду в соседней комнате (Ю. Арнольд «Воспоминания», М. 1892, вып. II, стр. 201—202). Думая о светском обществе, писатель с горечью записывает в дневнике: «Моя беда в том, что хочу дышать чистою совестью в гнилой атмосфере» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. No 1, пер. 59, л. 34).

Безымянный критик из «Молвы», за которым скрывался Белинский, писал о повести «Катя»: «Из всех прозаических статей «Новоселья» это, неоспоримо, лучшая... Отрывок сей показывает в авторе и внимательную наблюдательность подробностей, и философический взгляд на целостность жизни, и твердый навык в языке; все стихии, необходимые для романиста!» («Молва», СПб, 1834, No 23, стр. 350).

Гетевы слова о Гамлете. — Подразумевается характеристика, которую Гете дал Гамлету в «Вильгельме Мейстере», как существу с тонкой духовной организацией, неспособной сопротивляться трудностям жизни. Гете писал: «Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишенное силы чувства, делающей героя, гибнет под бременем, которого он не мог ни снести, ни сбросить, всякий долг для него священен, а этот непомерно тяжел. От него требуют невозможного, — невозможного не самого по себе, а того, что для него невозможно. Как он мечется, бросается туда и сюда, путается, идет вперед и отступает, вечно получает напоминания, вечно сам вспоминает и наконец почти утрачивает сознание поставленной себе цели, не становясь, однако, уже никогда больше радостным» (Гете, Собр. соч., т. VII, М. 1935, стр. 248).

Бранвилье — маркиза Бранвилье, известная в XVII веке своей жестокостью.

«Барнав» — роман французского критика-фельетониста Жюль Жанена (1831); «Саламандра» — роман Эжена Сю (1832).

...итальянской кавалетты — музыкальная фраза, повторяемая в конце каватины или арии.

Ламенне Фелисите-Робер (1782—1854) — французский реакционный писатель-богослов, один из главных проповедников христианского социализма 30—40-х годов XIX века.

Карло Дольни (1616—1686) — итальянский художник.

КНЯЖНА МИМИ

Впервые опубликована в «Библиотеке для чтения», СПб. 1834, т. VII, отд. I; вошла в «Сочинения князя В. Ф. Одоевского», часть третья, раздел «Домашние разговоры» (стр. 17—72) с датой Ревель, 1834, и за подписью В. Безгласный. В подготовлявшемся втором издании правки нет. Печатается по изданию 1844 года.

В фонде Одоевского (РО ГПБ, пер. 20, л. 55) находится автограф с перечнем действующих лиц повести и начало сцены бала, написанной в драматической форме. В переплете No 68 (РО ГПБ, фонд Од., оп. No 2) в расклеенном экземпляре сочинений Одоевского 1844 года на стр. 303 существует приписка: «прежние замечания», а на стр. 354 приписка в конце повести: «Не мешало бы объяснить поступок молодого барона и следствие его, особенно (зачеркн.) поведение графини Рифейской после смерти мужа (одно неразб. слово)», возможно, сделанное рукой Одоевского или кем-либо из его критиков.

В своей записной книжке Одоевский писал о светском обществе: «Петербургское общество, как петербургское солнце: греть не греет — но покоробить мебель, переплеты, зазелинить стекла, обесцветить обои, — словом, всякая гадость — это его дело» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. No 1, пер. 22, л. 93 об.).

Именно в этой повести Одоевский указал на Грибоедова, как «едва ли на единственного... писателя, который постиг тайну перевести на бумагу наш разговорный язык» (стр. 166). Белинский, соглашаясь с этим мнением, писал: «Недавно один из наших примечательнейших писателей, слишком хорошо знающий общество, заметил, что только один Грибоедов умел переложить на стихи разговор нашего общества...» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 82).

В тексте Одоевский не раз упоминает Грибоедова: «Тут и те лица, которым сам Грибоедов не мог приписывать другого характеристического имени, как г-н N и г-н Д» и грибоедовское выражение: «старух зловещих, стариков» и т. д.

Литературные достоинства повести были отмечены современниками. Белинский неоднократно возвращался к своим оценкам о ней в основных своих статьях. Еще в «Литературных мечтаниях» он писал, что в этой повести писатель «народен в высочайшей степени» (т. I, стр. 92). В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» критик ставит имя княжны Мими рядом с крупнейшими образами русской литературы: «В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов — разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, Боже мой! как много смысла заключает в себе каждое из них! Это повесть, роман, история, поэма, драма, многотомная книга, короче: целый мир в одном, только в одном слове» (т. I, стр. 296).

Декабристская критика высоко оценила повесть Одоевского. В. К. Кюхельбекер записал в своем дневнике 20 декабря 1834 года в ссылке в Свеаборге: «В «Библиотеке» прочел я три повести; одна из них: «Княжна Мими» Одоевского — чрезвычайно хороша; это первое сочинение Володи, которым я доволен» (В. К. Кюхельбекер «Дневник». Изд-во «Прибой», 1929, стр. 222).

Не случайно, что именно те произведения Одоевского, которые положительно оценивал Белинский, вызывали резкие нападки реакционных критиков из «Библиотеки для чтения». Так случилось и с «Княжной Мими». См. рецензию О. Сенковского (Библиотека для чтения. 1844, т. 66, No 9, стр. 1—9).

Повесть была переведена на немецкий язык и напечатана в сборнике «Russische Hundert und Eins», Berlin, 1838.

Гинекей — женские покои в греческом доме.

...глубокомысленными описателями нравов... — иронический намек на Ф. Булгарина, автора многочисленных бульварных романов, среди которых известностью пользовался «Иван Выжигин». Когда Н. И. Греч в «Чтениях о русском языке», вышедших в 1840 году, не постеснялся назвать Булгарина «родоначальником русского романа», Одоевский с возмущением заклеил его в своей рецензии. (См. «Отечественные записки», 1840, т. XII, No 9, отд. VI, стр. 17).

Каньзу — корсаж.

Г-н N и г-н Д — персонажи из комедии Грибоедова «Горе от ума», распространявшие сплетню о сумасшествии Чацкого.

«Антони» — напумевшая в 30-х годах XIX века драма французского романиста и драматурга Александра Дюма (отца) (1803—1870).

Прочти хоть Брантома. — Имеются в виду «Мемуары» Пьера Брантома (1540—1614), посвященные описаниям французских придворных нравов XVI века.

...прочти «Поездку на остров любви», точнее «Езда в остров любви» (1730) — переведенный поэтом В. К. Тредиаковским, роман французского писателя Поля Тальмана (1642—1712).

Лафатер Иоганн-Каспар (1741—1801) — немецко-швейцарский писатель, философ и богослов. Автор «Физиогномики» (1772—1778), создатель псевдонаучной теории, устанавливающей связь характера с наружностью человека.

Бентам Иеремия (1748—1832) — буржуазный английский писатель по вопросам права, проповедник утилитаризма. Теория Бентама посвящена восхвалению капитализма и защите ничем не ограниченной свободы деятельности капиталистической конкуренции.

«Племянник Рамо» — произведение Дени Дидро (1713—1784), французского просветителя, энциклопедиста.

IMBROGLIO

Впервые напечатано в собрании «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», СПб. 1844, ч. II, под заголовком «Из записок путешественника», стр. 59—103, с датой 1835.

Слово «Imbroglío», помимо прямого перевода, обозначающего путаницу, недоразумение, является еще музыкальным термином, обозначающим шаловливое исполнение. Этот смысл совпадает с формой повести: ее затейливым и легким содержанием, неожиданными сюжетными поворотами, юмористическими экспромтами.

Рассказ этот характерен для увлечений итальянскими разбойничьими сюжетами в литературе времен Одоевского. В 20—30-х годах Италия была символом «прекрасного далека» для романтически настроенных русских писателей. Италию воспевают Гоголь («Рим»), Веневитинов, Зин. Волконская и многие другие. Италия была местом паломничества русских художников (Брюллов, Ал. Иванов).

Одоевский задумывает целый «итальянский цикл», но не приводит его в исполнение.

«Анна Бoleйн» — опера итальянского композитора Доницетти Гаэтано (1797—1848), либретто Романи. Исполнялась впервые в миланском театре Сан-Карло 26 декабря 1830 года.

Беллини Винченцо (1801—1835) — итальянский композитор, автор опер «Норма», «Монтеки и Капулетти», «Пуритане», «Сомнамбула» и др. Верный своему отрицательному отношению к «итальяно-мании», Одоевский в многочисленных музыкальных статьях с неодобрением отзываясь о Беллини, называя его музыку «стукотней», возражая против засилия произведений этого композитора в репертуаре московских театров. Нередко повторял писатель бытовавший в России каламбур о том, что «музыка в Европе взбеллинилась». В своей статье «Концерты» Одоевский писал: «Кому не известно, что Беллини принадлежит несколько счастливых мотивов, но что он самый плохой инструменталист на свете» («Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» 1837, 27 марта, No 13, приложение.)

НЕОБОЙДЕННЫЙ ДОМ

Впервые — «Альманах в память двухсотлетнего юбилея имп. Александровского университета». Гельсингфорс, 1842, с. 215—234. Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года с учетом позднейшей авторской правки.

Повесть написана в 1840 году. «Посылаю Вам «Необойденный дом» в роде русских легенд, чего еще у нас не пробовали, и совершенно характерную русскую», — писал Одоевский Я. К. Гроту (Я. К. Грот. Переписка с П. А. Плетневым, т. I, с. 676). Интерес к народному творчеству, сказкам, фантастике и преданиям вообще был характерен для русских писателей-романтиков; фольклорные сюжеты и мотивы использовали в своих повестях О. Сомов, М. Погодин, А. Погорельский-Перовский, А. Бестужев-Марлинский, В. Даль, В. Кюхельбекер (см.: Р. В. Иезуитова. Литература второй половины 1820—1830-х годов и фольклор. — В кн.: «Русская литература и фольклор». Л., «Наука», 1976). Сам Одоевский поместил в своем сборнике «Пестрые сказки» (1833) повесть «Игоша», основанную на народном предании о домовых.

Одоевский, как и многие русские писатели XIX века (И. Козлов, Н. Некрасов, Н. Лесков, Л. Толстой, Ф. Достоевский), взял религиозную народную легенду о великом грешнике и праведнице. В «Не-

обойденном доме» с помощью традиционного религиозного мотива показано духовное возрождение человека из народа, что сближает повесть Одоевского с знаменитой некрасовской балладой об атамане Кудеяре и двенадцати разбойниках, ставшей любимой народной песней и увековеченной бессмертным голосом Шаляпина: «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Этот чисто народный мотив пробуждения совести, воскресения падшей души Одоевский воплотил в форме и традициях русского фольклора. Эта интереснейшая повесть-легенда представляет собой особую страницу в творчестве В. Ф. Одоевского и заставляет нас иначе, по-новому, взглянуть не только на его творчество, но и на пути русской романтической прозы; и не случайно Белинский заметил эту повесть еще при первой публикации и находил ее «прекрасно рассказанной» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, с. 113).

Повестям «Игоша» и «Необойденный дом» в Собрании сочинений 1844 года предпослано следующее авторское разъяснение, важное и для понимания этих повестей, и для истории отечественной фольклористики, и для литературной теории:

«Считаю нужным сказать несколько слов о том смысле, в котором я принимаю слово *предание*, смысле, до некоторой степени уклоняющемся от того, который большею частию в сем случае предполагается. Обыкновенно сему слову присволяется значение *древнего сказания*; я принимаю это слово в более простом и общем его значении, т. е. в значении всего, что передается от лица к лицу. — Я уверился (по основаниям, о которых бы надобно было написать целую книгу *ex professo*), что независимо от отдельных лиц, производящих то, что вообще называется *литературою*, каждый самобытный народ в целости творит свою эпопею более или менее полную, более или менее сомкнутую. Такая эпопея есть поэтическое воплощение всех элементов народа, выражение его идеального характера, его быта, его радостей, его печалей, наконец, его собственного суда над самим собою. Таковы, например, русские песни; при внимательном рассмотрении нельзя не убедиться, что в них дело идет об одном и том же герое, об одной и той же героине; они не названы, ибо всякий знает их безымянное имя. Это имя — человек, как он представляется человеку в данной стране и в данную эпоху. Все эти песни, сказания — суть отрывки из одной и той же классической поэмы, в которой отчетливо сохранено единство происхождения, т. е. жизнь человека, представленная с различных сторон поэтического воззрения. Один завел песню, другой ее продолжает.

Совершилась первая эпоха развития основных элементов; поэтические цветы вянут, пригвожденные к печатным листам, но вянут потому, что плод созревает; к нему устремлены все силы организма; для плода вырабатывается в таинственных сосудах живительный сок; для него веет ветер, для него листья обмываются студеной росой, для него палящие лучи солнца. Цветок переходит в воспоминание: ученые подводят под него комментарии; его вид одушевляет новых поэтов — а поэма продолжается, хотя под иною формою; ибо *творец* ее все тот же — он лишь переродился; сначала являются эпизоды, более или менее близкие к главному предмету, принимающие различный характер, смотря по временам: религиозный, сатирический, философский и проч.; в них зародыш новой поэмы: никто не знает ее содержания, но всякий собирает для нее материалы; все поглощается в них: и часть действительного события, и загадка того, что могло бы случиться; и следствие глубокой думы и разгульное слово. Сего рода предания вокруг нас; со времен *новой* русской поэзии, т. е. со времен Кантемира, эти предания идут двумя путями; одни из них — *памяти сердца*: выражения чистого, безусловного, бессознательного, девственного развития жизни; таковы наши летописи, легенды, аскетические и военные рассказы; этого рода предания вошли в состав большей части произведений нашей литературы; другие предания — *памяти ума*: выражение нашего суда над самими собою, часто грустное, исполненное негодования, большею частию ироническое; сего рода предания послужили материалами для произведений сатирических, которых резкая черта протянулась в нашей литературе от Кантемира до Гоголя. — В обоих направлениях источник один: высокая любовь народа к самому себе, и в обоих одни материалы (независимо от творческого дара отдельных лиц) — предания народные, никем не изобретенные и всем принадлежащие. Сохранять сии предания — долг; выражать их по собственному своему воззрению — право каждого, ибо сии предания суть достояние общее» (В. Ф. Одоевский. Соч., ч. III, с. 43—46).

Калика перехожая — так на Руси назывались паломники, странствовавшие по монастырям; многие калики слагали и пели песни на религиозные сюжеты.

Часы — часть церковной службы.

Ячный — ячменный.

Буза — каменная соль.

Зернь — игра в кости или хлебные зерна.

Епанча — широкий плащ без рукавов.

Карачун — конец, смерть.

...с *требами*. — Требы — церковные таинства и обряды (причастие, отпущение грехов умирающему и др.).

ЖИВОПИСЕЦ

Впервые — «Отечественные записки», 1839, т. VI, с. 31—42. Печатается по тексту журнальной публикации.

Замысел цикла повестей «Записки гробовщика» подсказан пушкинским «Гробовщиком», «Записками доктора» английского врача Гаррисона и относящейся еще к 1833 году идеей Одоевского издать вместе с Пушкиным и Гоголем альманах «Тройчатка», где в трех повестях была бы показана жизнь петербургского дома от чердака до подвала. «Что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко <Одоевский> и Рудый Панек <Гоголь> по странному стечению обстоятельств описали; первый — *гостиную*, второй — *чердак*; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность — *погреб*», — писал Одоевский Пушкину (Пушкин. Полн. собр. соч., т. XV, с. 84). Пушкин вежливо отказался, и «Тройчатка» не была издана. Но Одоевского не оставляли мысль о пестроте и многослойности петербургской жизни и желание эту многоликость воплотить художественно, дав вертикальный срез бытия различных общественных слоев в цикле повестей; и в одном неопубликованном сочинении он писал: «Известно, что Петербург разделен на несколько обществ, и редко люди одного встречаются в другом: каждое из этих обществ живет особой жизнью, особо развивается, получает особые законы или особые причуды» (Сакулин. «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский», Москва, 1913. II, 148).

Изобразить это разъединенное общество можно было лишь с помощью рассказчика, способного по роду своих занятий проникать всюду. Во введении к «Запискам гробовщика» Одоевский говорил: «Мне давно уже хотелось посмотреть на жизнь с исключительной точки зрения двух классов людей, присутствующих решительным минутам нашего существования: врача и гробовщика» («Альманах на 1838 год». СПб., 1838, с. 228—229). Выбор писателя пал на гробовщика, веселого и спокойного философа, простодушного рассказчика, и это позволило Одоевскому создать любопытнейшие психологические повести, характерные картины обыденной жизни обитателей петербургских «углов», предвосхищавшие «физиологические очерки» литераторов «натуральной школы» и прозу молодого Достоевского.

Одоевский намеревался включить в цикл тринадцать повестей: «Эмигрант», «Студент анатомии», «Сирота», «Богатые похороны», «Вести на похоронах», «Неверная жена», «Семейство во время холеры», «Проснувшийся чудака», «Живописец», «Прекраснейший человек», «Мартингал», «Танцмейстер», «Смерть самого гробовщика».

Для понимания образа рассказчика-гробовщика необходимо напомнить историю его жизни, рассказанную им самим: «Моя собственная история коротка... Я родом немец, хотя родился в России; в молодости я учился в университете; тогда мечта славы, искусства волновали меня, как волнуют всякого молодого человека, как и вас например; много было грустного, много сладкого в это время! — Я вам скажу по секрету, что природа назначила мне быть скульптором — по крайней мере так мне казалось, по крайней мере довольно замечательно, что в классе эстетики меня одного из всех слушателей поразила мысль: отчего ваяние, которое так тесно связывалось с жизнью древних, в наше время потеряло свою силу и значение — почти исчезло, по крайней мере сделалось уделом немногих избранных? почему оно далеко не достигает до древнего искусства и не выходит из колеи подражания. Мне казалось, что появление человека с талантом на этом поприще может воскресить древнее ваяние, пробудить снова в толпе эту древнюю изумительную потребность в произведениях сего искусства; а от этой мысли был один шаг до другой: что мне предоставлено быть Христофором Колумбом в этом мире статуй! — Все предметы богословского факультета, к которому я принадлежал, были пройдены мною вскользь, но зато я прочел все, что было писано о ваянии, изучил все вспомогательные науки сего искусства, в моей тесной комнате студентские книги и тетради были забрызганы водою и пересыпаны алебастром. Когда, вышедши из университета, я возвратился к моей матери, в небольшой городок остзейских губерний, меня окружили и задавили домашние нужды; я был единственною опорой семейства, а моя подпора была из алебаstra. Нечего было и думать о покупке мрамора, из которого мне хотелось иссечь Фидиаса, трудящегося над недоконченною статуею — группа, которая должна была увековечить мою славу; в лице Фидиаса я хотел изобразить вдохновение художника; в его теле — показать, мое знание анатомии; на недоконченную Венеру я хотел набросить род покрывала, сквозь которое бы сквозила ее будущая красота, и самым грубым осколкам придать изящную форму. Мечта! мечта! В нашем городке моими единственными меценатами были: булочник и аптекарь, и то потому, что для первого я слепил его самого, в колпаке, трудящегося над недоконченною квашнею, а для второго анатомическую фигуру, называемую *esogché* <т. е. без кожи, показывающую расположение внутренних органов тела>. Все прочие, и мужчины, и женщины, находили, моих Венер и Аполлонов слишком неблагопристойными; единственный мой доход происходил от кошечек с вертящимися головами и Наполеонов, которых, увы! для удовольствия покупателей я должен был раскрашивать. Так жить было невозможно, не только доехать до Петербурга, где, я надеялся, мой талант не остался бы незамеченным; — я впадал уже в совершенное отчаяние, когда наш городской гробовщик расчел, что ему гораздо будет выгоднее заказывать мне разные резные изображения, обыкновенно бы-

вающие на лютеранских гробах, нежели выписывать их из Риги. Что вам рассказывать далее: работая у него, я познакомился с его дочерью, — после смерти отца помогал ей в ее торговле, потом женился на ней, потом переехал сюда, — и вот уже десять лет, как знаменитый ваятель сделался просто зажиточным гробовщиком. Мои модели разбились дорогою; и иногда я еще жалею о них, но чаще смотрю на мою милую Енхен и благодарю Бога, что он мне доставил если не то счастье, о котором я мечтал, — то по крайней мере другое, может быть, более прочное. Правда, ремесло мое печально; но чего не преодолеет привычка? — я даже нашел в нем своего особого рода занимательность: оно невольно делает человека наблюдательным, если он имеет малейшую к тому способность; иногда — сказать без самолюбия — мне удастся не быть бесполезным человеком в этом мире; иногда происшествия, которых я бывал свидетелем, возбуждают во мне — не смейтесь! — ряд самых философических мечтаний, а довольно часто в этих происшествиях есть своя особенного рода, забавная сторона. Вы уверитесь в этом, когда я расскажу вам несколько анекдотов, которых я был частию невольным, а частию и вольным свидетелем. С чего бы начать? — да, слушайте!» («Альманах на 1838 год», с. 230—234). Далее следует повесть «Сирота», за нею согласно программе — «Живописец» и «Мартингал». Остальные повести цикла не были написаны.

...теньеровском костюме... — Теньер (Тенирс) Давид Младший (1610—1690) — фламандский художник.

гудошник — здесь это слово употреблено в значения «обманщик».

сиделец — лавочник или приказчик, торгующий по доверенности купца — владельца лавки.

МАРТИНГАЛ

Впервые — «Петербургский сборник». СПб., 1846, с. 377—390. Печатается по тексту сборника с учетом позднейшей авторской правки.

«Мартингал» не принадлежит к числу лучших произведений Одоевского. Однако повесть эта примечательна тем, что писатель как бы прощался в ней с читающей публикой, покидая литературу ради практической филантропии. Еще важнее тот факт, что известнейший прозаик-романтик, выдающийся писатель пушкинской эпохи отдал свою последнюю повесть передовой молодежи, людям нового поколения — Н. Некрасову, В. Белинскому, И. Панаеву, Н. Огареву, идеологам и писателям «натуральной школы». Это время ознаменовано сближением Одоевского с Белинским и его кружком. «Белинский был одною из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал», — говорил потом Одоевский («Русский архив», 1874, кн. I, стб. 339). Он обещал Белинскому статью для альманаха «Левиафан», и критик сказал: «Вот в Одоевском я уверен, что он от чистого сердца пообещал написать для меня» (А. Я. Панаева-Головачева. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1972, с. 147). Издание альманаха не состоялось, но появление «Мартингала» в «Петербургском сборнике» показало, что Белинский в Одоевском не ошибся. Повесть Одоевского не была в сборнике Некрасова инородным телом, и недаром Белинский в своей рецензии на эту книгу с одобрением отозвался о «Мартингале». Многие в ней отвечало художественным идеалам и принципам «натуральной школы», гоголевскому направлению в тогдашней литературе. Даже критика враждебного славянофильского лагеря писала о персонажах «Мартингала»: «Эти игроки род свой ведут от Гоголевых...» («Москвитянин», 1846, ч. I, № 2, с. 182). Одоевский благожелательно следил за развитием этого передового направления в литературе и особо выделил «Бедных людей» молодого Ф. Достоевского. По свидетельству современника, Одоевский и его друг В. Соллогуб, прочитав роман, говорили, что «границы возможностей начинающего Достоевского более широки, чем у Гоголя» («Литературное наследство», т. 86. М., 1973, с. 659).

Мартингал — термин карточной игры, означающий игру на квит (от фр. jouer à la martingale).

...из полугара... — Так в XIX в. называлось хлебное вино (водка), употреблявшееся простым народом.

На жуировку — на развлечения (от фр. jouir).

...кухенрейт... — Имеются в виду дуэльные пистолеты работы оружейного мастера Кухенрейтера.

...в любом романе... — Описание игры в карты было распространено в литературе того времени (вспомним «Шагреновую кожу» Бальзака, «Счастье игрока» Э.-Т.-А. Гофмана, «Пиковую даму» Пушкина, «Штосс» Лермонтова и многие повести самого Одоевского).

Плие — увеличение ставки в восемь раз.

Макарьевская ярмарка на Волге — названа так по находившемуся поблизости монастырю св. Макария. В 1817 г. была перенесена к Нижнему Новгороду и стала именоваться «Нижегородской».

Понтировать — идти против банкмета, ведущего участника игры, который держит банк. Понтировать ва-банк — значит ставить сумму, равную банку.

Метать... банк. — Это делает банкмет, ставящий на карту какую-либо сумму денег.